

Гайто

ГАЗДАНОВ



ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДДЫ
ЭВЕЛИНА И ЕЕ ДРУЗЬЯ
ВЕЛИКИЙ МУЗЫКАНТ
р о м а н ы



Гайто Газданов
Возвращение Будды. Эвелина и ее
друзья. Великий музыкант (сборник)
Серия «Классики и современники (Рипол)»

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10393065

Возвращение Будды. Эвелина и ее друзья. Великий музыкант: РИПОЛ классик; Москва; 2015

ISBN 978-5-386-08327-4

Аннотация

Гайто (Георгий Иванович) Газданов – русский писатель, литературный критик. Родился в 1903 году в Петербурге. Во время Гражданской войны воевал в составе Добровольческой армии, в 1920 году эмигрировал за границу, учился в Сорбонне. Его первый и самый популярный роман «Вечер у Клэр» был опубликован в 1929 году в Париже.

Еще совсем недавно имя Гайто Газданова было мало знакомо русскому читателю. На родине, в России, его произведения стали издавать только в 90-е годы XX века. Сегодня можно говорить о том, что это один из самых ярких, одаренных и незаслуженно забытых писателей русской зарубежной литературы.

Содержание

Предисловие	5
Возвращение Будды	9
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Гайто Газданов
Возвращение Будды. Эвелина
и ее друзья. Великий музыкант

© Издание. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2015

Предисловие

Гайто Газданов – осетинское имя. К началу XX столетия в России сложился весомый слой интеллектуально и творчески заметных фигур с кавказскими корнями. Поколениями эти семьи усваивали русскую культуру самой высокой пробы, достигали сродства с ней, чувства органической принадлежности ей, наконец, одаряли ее своим талантом и характером. Если и было когда-нибудь время, когда ни среда не ощущала инородца чужим, ни он себя чужим ей, то это период – по нарастающей – от Петра до революции 1917 года. Газданов родился в Петербурге, жил у Пяти Углов, читал книги, входившие в канон интеллигентного русского мальчика, учился в кадетском корпусе, в гимназии. Та к что выглядит совершенно естественным, что 16 лет он ушел в Добровольческую армию. «Я поступал в Белую армию потому, что находил ся на ее территории, потому, что так было принято». Как говорит один из его героев – «за белых, так как они побеждаемые».

Дальше крымский разгром, бегство в Турцию, лагерь в Галлиполи, Константинополь, Болгария, Париж. Рядовая судьба русского человека, потерпевшего поражение. (Победителям, впрочем, выпала, как оказалось, участь еще горшая.) Портовый грузчик, мойщик паровозов, рабочий на автозаводе, ночной таксист. И – студент Сорбонны. И – первые литературные опыты.

В 1929 году у него выходит роман, сразу сделавший ему имя, – «Вечер у Клэр». Это замечательное произведение. Написанное молодым, без оглядки на расстановку литературных сил, полнокровное, наглядно талантливое. Этот парижский вечер у прелестной, красивой, необычной, загадочной молодой женщины, в которую герой был влюблен гимназистом еще в России, – вместе с описанием горстки встреч и разговоров, словно бы подготовительных, – занимает в насыщенной 120-страничной книге семь страниц. Все происходящее укладывается в несколько часов, большую часть которых возлюбленная проводит спящей. Но это техническое время появляется перед нами, читающими, наполненным предшествующей жизнью героя во всей ее полноте. Как шпиль – или, если угодно, как крест, – венчающий здание стометрового храма, едва заметный с земли.

Все, что вместили два с половиной десятилетия от рождения до этого вечера, свелось к коротким часам и так же, как они, превратилось в сбывшуюся мечту и прошло. Однажды мальчиком герой, «убежав из дому и гуляя по бурому полю, заметил в далеком овраге нерастаявший слой снега, который блестел на весеннем солнце. Этот белый и нежный свет возник передо мной внезапно и показался мне таким невозможным и прекрасным, что я готов был заплакать от волнения. Я пошел к этому месту и достиг его через несколько минут. Рыхлый и грязный снег лежал на черной земле; но он слабо блестел сине-зеленым светом, как мыльный пузырь, и был вовсе не похож на тот сверкающий снег, который я видел издали. Я долго вспоминал наивное и грустное чувство, которое я испытал тогда, и этот сугроб. И уже несколько лет спустя, когда я читал одну трогательную книгу без заглавных листов, я представил себе весеннее поле и далекий снег и то, что стоит только сделать несколько шагов, и увидишь грязные, тающие остатки. И больше ничего? – спрашивал я себя. И жизнь мне показалась такой же: вот я проживу на свете столько-то лет и дойду до моей последней минуты и буду умирать. Как? И больше ничего?» Этот потемневший исчезающий пласт снега, это убийственное разочарование непрямо трансформируется в другой образ: «Лежа на ее кровати, в ее постели, в Париже, в светло-синих облаках ее комнаты, которые я до этого вечера счел бы несбыточными и несуществующими – и которые окружали белое тело Клэр, покрытое в трех местах такими постыдными и мучительно соблазнительными волосами, – я жалел о том, что уже не могу больше мечтать о Клэр, как я мечтал всегда».

Все, что написал Газданов, – об этом. О том, что ради этого вечера, ради этой несбыточной Клэр надо лишиться дома и родины, пройти через кровь и грязь войны, кровь и грязь парижского дна, стрелять и видеть вокруг себя застреленных, бедствовать, жить через силу, не давая себе забыть ее, чтобы, найдя, тотчас потерять, как все осуществившееся и невозобновимое.

Он принадлежал к поколению моих родителей (1903–1971), и к тому же кругу начитанных независимых людей, что они. До последнего времени я думал об этом поколении и этом круге со всем, на какое способен, состраданием, с печалью и горечью. Лишенное будущего, униженное, истребляемое, едва сводящее концы с концами, обреченное на издевательское порицание все более вульгарных потомков – в России. И с самого начала записанное в граждан второго сорта, в этническое гетто, старающееся имитировать коренных жителей, опускающееся, выкарабкивающееся – в эмиграции. Но чем теснее обступало меня племя новое, освободившееся от угнетения советского режима на родине, выезжающее за границу по своей воле, «для нормальной жизни», для карьеры, заработка и развлечений, тем существеннее менялось освещение судьбы «отцов», тех, кого я так жалел. Та к ли сая ли, с меньшей или большей изменой себе, они жили, ориентируясь на чувство собственного достоинства, а не выгоды. Не прославляя, как сказал поэт, «ни хищи, ни поденщины, ни лжи».

Когда же я стал перечитывать Газданова, роман за романом, от «Клэр» до «Эвелины», от 1929 до 1969 года, я укрепился в убеждении, что и те, кто попал в изгнание, предпочитали, насколько это было в их силах, руководствоваться понятиями русской чести и благородства. Образ ночного таксиста в Париже сделался – не без участия советской и буржуазной пропаганды – символом краха личности и стереотипом социального падения русского эмигранта. Подруга моих детей, отпрыск титулованной и одновременно священнической семьи, в революцию бежавшей из России, рассказывала, как после Перестройки их беспрерывно просили об интервью и приглашали на всевозможные объединительные собрания. С очаровательным французским акцентом и милыми грамматическими неправильностями она говорила: «Они всегда начинали: «Вы – графы, вы – графы... Мне хотелось сказать: а где вы были, когда мы водили такси?»»

Герой Газданова, его автобиографический двойник, тоже водитель ночного такси, делает несколько признаний: «Бескорыстному моему любопытству ко всему, что окружало меня и что мне с дикарской настойчивостью хотелось понять до конца, мешал, помимо всего остального, недостаток свободного времени, происходивший, в свою очередь, оттого, что я всегда жил в глубокой нищете и заботы о пропитании поглощали все мое внимание...»

В отношении клиентов к шоферу всегда отсутствовали сдерживающие причины – не все ли равно, что подумает обо мне человек, которого я больше никогда не увижу и который никому из моих знакомых не может об этом рассказать?..

Об этих годах моей жизни у меня осталось впечатление, что я провел их в огромном и апокалипсически смрадном лабиринте. Но, как это ни странно, я не прошел сквозь все это без того, чтобы не связать – случайно и косвенно – свое существование с другими существованиями, как я прошел через фабрики, контору и университет...»

Не торопитесь ни сочувствовать этому призраку за рулем, ни тем более смотреть на него сверху вниз. Это не вы распоряжаетесь им, называя адрес и по прибытии немножко прибавляя к сумме, выбитой счетчиком. Это он, проницательный, изучивший разные стороны человеческой натуры, много больше вас образованный человек с пронзительным взглядом, видит подноготную – не только конкретно вашу, но и жизни в целом. «Было невозможно предположить, что все это только случайности. Только отступления от каких-то правил. И мне казалось, что та жизнь, которую вели мои ночные клиенты, не имела ни в чем никаких оправданий. На языке людей, живших этим, все это называлось работой. Но во Франции все называется работой: педерастия, сводничество, гадание, похороны, собирание окурков.

Труды Пастеровского института, лекции в Сорбонне, концерты и литература, музыка и торговля молочными продуктами...» А у вас – у всех нас – что у нас за душой, чтобы противопоставить этому? Не торопитесь жалеть его: это Гайто Газданов, редкостный русский писатель.

И по поводу его судьбы, писателя, не получившего должного признания и славы, не сокрушайтесь. Не повторяйте тривиальных заклинаний о русском литераторе, задыхающемся в тесноте эмигрантской публики. Да, действительно, на то, что тогда писалось по-русски в Европе, откликались одни и те же Ходасевич, Вейдле, Адамович, еще два-три критика с именем. А сколько нужно? Несколько дюжин серафимовичей и безыменных, как это было в советской России? В наше время, меряющее творчество человека исключительно успехом, а успех – тиражами и частотой вызова на телевизор, неловко говорить о том, что в самом деле может принести ему удовлетворение и что не может никогда. Отзывы Ходасевича, Вейдле, Адамовича означали ауканье, переключку ровни – независимо от того, содержалась в них похвала или упрек.

Вы скажете: Набоков добился большего, не так ли? Это как на чей вкус. Он добился большего в демонстрации своего превосходства над читателем. В демонстрации того, как он, писатель, распоряжается персонажами, как они покорны ему. В демонстрации читателю своего ума и таланта. В социальном статусе – он был университетский профессор, а не таксер. Он не забывал держать читательскую аудиторию на дистанции. В произведениях, не озабоченных этой стороной сочинительства, таких как «Дар» или «Другие берега», то есть в лучших своих вещах, он пребывает в том же ограниченном пространстве читательского меньшинства, что и Газданов. В массовом сознании Набоков – автор «Лолиты». В массовом сознании *это* – бесспорное достижение: экранизация, Голливуд, миллионные гонорары. Трудно сказать, выигрыш ли это Набокова и хотелось ли Газданову такой судьбы.

Ибо что такое превосходство одного человека над другим, умственное, эмоциональное, нравственное, социальное, и какой ценой оно дается, Газданов знал, как мало кто другой. Герою романа «Полет» всё, начиная от высокой интеллектуальности и физической крепости и кончая удачей и богатством, дается без усилий, как само собой разумеющееся. Он щедр, не отказывает просящим, хоть ему и видимы схемы применяемых ими обманов, предан жене, верен тем, кого любит. Пленительное остроумие, мужество, точные, всегда ироничные оценки людей, снисходительность к их слабостям, жизненная философия и позиция делают его неуязвимым для любой критики. Он должен вызывать восхищение, если бы не эта неуязвимость. Постепенно все, что составляет сердцевину его жизни, его тыл, то, чему его превосходство над другими дает вид незыблемости, превращается в груды руин.

Всякий писатель всегда хочет писать дальше, написанное прежде подталкивает его к новому сочинению. Роман, последовавший за «Вечером у Клэр», «История одного путешествия», написан как будто для того, чтобы читатель убедился, что первая книга не случайность и не исключение, а одна из вещей в собрании сочинений, просто первая в списке. А возможно, и для того, чтобы убедить себя, что ты в самом деле писатель: написал один роман, написал следующий. Но «Путешествие» проигрывает «Клэр» по всем статьям. Это беллетристика, с симпатичными, но не останавливающими на себе внимание персонажами, с отношениями тоже симпатичными, но словно бы заранее выбранными, как стиль быта и одежды, с эпизодами трогательными, но литературно. Единственное, что роднит с «Клэр», это писательская манера, прозрачность прозы, аромат, атмосфера, а если говорить просто и прямо – умение рассказывать, талант.

Точно так же «Возвращение Будды», «Призрак Александра Вольфа» и «Пробуждение» уступают «Эвелине и ее друзьям». «Пилигримы» – хороший роман, бесстрашный, обращающийся к базовым категориям бытия, но разными сторонами отраженный в том или ином из пяти произведений, выбранных для этого издания. Газданов, кроме того что превосходный

романист, также и великолепный рассказчик, story-teller. Мы взяли на себя смелость предложить читателю вместо пятого романа его самый большой, 50-страничный, рассказ «Великий музыкант». Тем более что в начале работы над ним он был объявлен в газете как новый роман (тогда под названием «Алексей Шувалов»). Критическая масса его, энергетический заряд, во всяком случае, романские.

Чем дальше, тем более европейцем становился этот писатель. Тем самым типом русского европейца, который формировался еще в Карамзине, которого искали современные Газданову евразийцы и о котором не прекращаются споры доныне. Какие национальные качества прибавляют к сложившемуся за тысячелетия образу русские, становясь подлинно гражданами этого древнего континента, чем обогащают этот образ? В последнем романе, «Эвелина и ее друзья», за непосредственным содержанием, поставленными нравственными вопросами и тонкими психологическими разработками встает явление, по-видимому, свойственное Европе первой половины прошлого столетия. Это верность мужской дружбе, начинающейся с ранней молодости, с осознания себя единой компанией, группой. На память приходит прежде всего «Три товарища» Ремарка: не ситуационным сходством – которого нет, как, впрочем, и никакого другого, ни подобия реакций, ни мотиваций, – а натянутой струной, звенящей в обоих произведениях в резонанс.

Русские привносят в эту дружбу Достоевский излом, «самоедство», душевные, кажущиеся несовместимыми противоречия, поэзию и кулацкую скарденность – да. Но и те уже упомянутые офицерскую честь, дворянскую совесть, различную самоотверженность, безоглядность поступков, готовность принимать удары судьбы так же, как ее дары, личную надежность. Словом, то, что в Средние века составляло на территории Европы кодекс трубадурской доблести. Венцом ее была Юность, Jovens. Почему и преданы с такой неизменностью герои Газданова юношеским идеалам. Почему, мужая, отравляясь ядом взрослости, ранясь о пружины человеческой безжалостности и низости, они остаются юны. Прибавим к этому томительно влекущую законсервированность вывезенной с собой культуры, как шкатулку с семейными драгоценностями: серебряной чеканки, серебряного века.

Девять романов, около сорока рассказов. Красивое лицо на фотографии: мужчины, рыцаря, поэта, – расположенное ко всем, на кого смотрит. «Ненасытное стремление непременно узнать и попытаться понять многие чужие жизни... Оно всегда было бесплодно, так как у меня не было времени, чтобы посвятить себя этому. Но сожаление, которое я испытывал от сознания этой невозможности, проходит через всю мою жизнь».

Анатолий Найман

Возвращение Будды

Я умер – я долго искал слов, которыми я мог бы описать это, и убедившись, что ни одно из понятий, которые я знал и которыми привык оперировать, не определяло этого, и то, которое казалось мне наименее неточным, было связано именно с областью смерти, – я умер в июне месяце, ночью, в одно из первых лет моего пребывания за границей. Это было, однако, не более непостижимо, чем то, что я был единственным человеком, знавшим об этой смерти, и единственным ее свидетелем. Я увидел себя в горах; мне нужно было, с той абсурдной и неперменной необходимостью, которая характерна для событий, где личные соображения человека почему-либо перестают играть всякую роль, взобраться на высокую и почти отвесную скалу. Кое-где сквозь ее буровато-серую каменную поверхность неизвестно как прорастали небольшие колючие кусты, в некоторых местах даже были высохшие стволы и корни деревьев, ползущие вдоль изломанных вертикальных трещин. Внизу, в том месте, откуда я двинулся, шел узкий каменный карниз, огибавший скалу, а еще ниже, в темноватой пропасти, горная река текла с далеким и заглушенным грохотом. Я долго карабкался вверх, осторожно нащупывая впадины в камне и хватаясь пальцами то за куст, то за корень дерева, то за острый выступ скалы. Я медленно приближался к небольшой каменной площадке, которая была мне не видна снизу, но откуда, как я это почему-то знал, началась узкая тропинка; и я не мог отделаться от тягостного и непонятного – как все, что тогда происходило, – предчувствия, что мне не суждено больше ее увидеть и пройти еще раз по тесным ее поворотам, неровным винтом поднимавшимся вверх и усыпанным сосновыми иглами. Я вспомнил потом, что мне казалось, будто меня кто-то ждал наверху, чье-то нетерпеливое и жадное желание меня увидеть. Я поднялся наконец почти до самого верха, ухватился правой рукой за четкий каменный выступ площадки, и через несколько секунд я был бы уже там, но вдруг твердый гранит сломался под моими пальцами, и тогда с невероятной стремительностью я стал падать вниз, ударяясь телом о скалу, которая, казалось, летела вверх перед моими глазами. Потом последовал резкий толчок необычайной силы, после которого у меня смертельно заныли мускулы рук и захватило дыхание, – и я повис, судорожно держась оцепеневшими пальцами за высохшую ветку умершего дерева, гнездившегося некогда вдоль горизонтальной трещины камня. Но подо мной была пустота. Я висел, глядя остановившимися и расширенными глазами на то небольшое пространство гранита, которое находилось в поле моего зрения, и чувствуя, что ветка постепенно и мягко смещается под моей тяжестью. Небольшая прозрачная ящерица на секунду появилась чуть выше моих пальцев, и я отчетливо увидел ее голову, ее часто поднимающиеся и опускающиеся бока и тот мертвый ее взгляд, холодный и неподвижный, взгляд, которым смотрят пресмыкающиеся. Затем неуловимым и гибким движением она метнулась вверх и исчезла. Потом я услышал густое жужжание шмеля, то понижающееся, то повышающееся, не лишнее, впрочем, некоторой назойливой мелодичности и чем-то похожее на смутное звуковое воспоминание, которое вот-вот должно проясниться. Но ветка все больше и больше оседала под моими пальцами, и ужас все глубже и глубже проникал в меня. Он меньше всего поддавался описанию; в нем преобладало сознание того, что это последние минуты моей жизни, что нет силы в мире, которая могла бы меня спасти, что я один, совершенно один, и что внизу, на страшной глубине, которую я ощущал всеми своими мускулами, меня ждет смерть и против нее я безоружен. Я никогда не думал, что эти чувства – одиночество и ужас – можно испытывать не только душевно, но буквально всей поверхностью тела. И хотя я был еще жив и на моей коже не было ни одной царапины, я проходил с необыкновенной быстротой, которую ничто не могло ни остановить, ни даже замедлить, через душевную агонию, через ледяное томление и непобедимую тоску. И только в самую последнюю секунду или часть

секунды я ощутил нечто вроде кошунственно-приятного изнеможения, странным образом неотделимого от томления и тоски. И мне казалось, что если бы я мог соединить в одно целое все чувства, которые я испытал за свою жизнь, то сила этих чувств, вместе взятых, была бы ничтожна по сравнению с тем, что я испытал в эти несколько минут. Но это была моя последняя мысль: ветка треснула и сломалась, и вокруг меня завертелись с невыносимой быстротой, как в огромном кольце, скалы, кусты и уступы, и наконец, через бесконечно долгое время, во влажном воздухе, на камнях над рекой раздался тяжелый хруст моего рухнувшего тела. В течение еще одной секунды перед моими глазами стояло неудержимо исчезающее зрительное изображение отвесной скалы и горной реки, потом оно пропало, и не осталось ничего.

Таково было мое воспоминание о смерти, после которой непостижимым образом я продолжал существовать, если предположить, что я все-таки остался самим собой. До этого мне много раз, как большинству людей, снилось, что я откуда-то падаю, и каждый раз я просыпался во время падения. Но в течение этого трудного подъема на скалу – и тогда, когда я встретил холодные глаза ящерицы, и тогда, когда под моими пальцами подломилась ветка, – у меня было сознание, что я не сплю. Следовало допустить, что в этой отчетливой и, собственно, прозаической катастрофе, совершенно лишенной какого бы то ни было романтического оттенка или призрачности, существовало чье-то двойное присутствие – свидетеля и участника. Эта двойственность, впрочем, едва намечалась и иногда переставала быть уловимой. И вот, вернувшись из небытия, я вновь почувствовал себя в том мире, где я до сих пор вел такое условное существование, не потому, чтобы этот мир вдруг внезапно изменился, а оттого, что я не знал, что же именно, в нестройном и случайном хаосе воспоминаний, беспричинных тревог, противоречивых ощущений, запахов, чувств и видений, определяет очертания моего собственного бытия, что принадлежит мне и что другим и в чем призрачный смысл того меняющегося соединения разных элементов, нелепая совокупность которых теоретически составляла меня, дав мне имя, национальность, год и место рождения и мою биографию, то есть долгую смену провалов, катастроф и превращений. Мне казалось, что я медленно возникаю опять здесь, куда как будто бы я не должен был вернуться, забыв все, что было до сих пор. Но это не было потерей памяти в буквальном смысле слова: я только непоправимо забыл, что именно следует считать важным и что незначительным.

Я чувствовал теперь во всех обстоятельствах необыкновенную призрачность моей собственной жизни, многослойную и непремennую, независимо от того, касалось ли это проектов и предположений или непосредственных и материальных условий существования, которые могли совершенно измениться на расстоянии нескольких дней или нескольких часов. Это состояние, впрочем, я знал и раньше, – и это была одна из вещей, которых я не забыл. Мир состоял для меня из вещей и ощущений, которые я узнавал, так, как если бы я когда-то давным-давно уже испытал их и теперь они возвращались бы ко мне точно из потерявшегося во времени сна. Это было даже в тех случаях, когда мне приходилось сталкиваться с ними уже, наверное, в первый раз в моей жизни. Выходило так, словно в огромном и хаотическом сочетании самых разнообразных вещей я почти ошупью искал тот путь, которым некогда прошел, неизвестно как и когда. Может быть, поэтому большинство событий оставляло меня совершенно равнодушным и лишь некоторые редкие минуты, заключавшие в себе то или иное совпадение и казавшиеся мне такими, с необыкновенной силой останавливали мое внимание. Мне было бы трудно определить, чем именно они отличались от других, – каким-то одним необъяснимым оттенком, какой-то случайной, но очевидной для меня замечательностью. Почти никогда они не касались непосредственно моей собственной судьбы или моих личных интересов, это были чаще всего непонятно как возникающие видения. Уже раньше в моей жизни бывало, что я годами как-то явно не принадлежал самому себе и принимал лишь внешнее и незначительное участие в том, что со мной происходило: я был

совершенно равнодушен ко всему, что меня окружало, хотя это были бурные события, иногда заключавшие в себе смертельную опасность. Но я знал о ней только теоретически и не мог проникнуться ее настоящим пониманием, которое, вероятно, вызвало бы ужас в моей душе и заставило бы меня жить иначе, чем я жил. Мне нередко казалось – когда я оставался один и мне никто не мешал погружаться в бесконечную последовательность неясных ощущений, видений и мыслей, – что мне не хватает сил еще для одного последнего усилия, чтобы сразу, в одном огромном и отчетливом представлении найти себя и вдруг постигнуть наконец скрытый смысл всей моей судьбы, которая до сих пор проходила в моей памяти как случайная смена случайных событий. Но мне никогда не удавалось этого сделать и даже никогда не удавалось понять, почему тот или иной факт, не имеющий ко мне никакого, казалось бы, отношения, вдруг приобретал для меня столь же непонятную, сколь очевидную важность.

Теперь начинался новый период моего существования. Целый ряд необычайно сильных ощущений, многие из которых мне никогда не пришлось испытывать, проходили через мою жизнь: зной безводных пространств и нестерпимая жажда, холодные волны северного моря, окружавшие меня со всех сторон, в которых я плыл часами к далекому и скалистому берегу, горячее прикосновение смуглого женского тела, которого я никогда не знал. Я переносил иногда мучительные физические боли, характерные для неизлечимых недугов, описания которых я находил потом в медицинских книгах, – недугов, которыми я никогда не болел. Я неоднократно был слепым, я много раз был калекой, и одно из редких ощущений физического счастья, которое я знал, это было возвращающееся сознание и чувство того, что я совершенно здоров и что, в силу непонятного соединения случайностей, я нахожусь вне этих тягостных состояний болезни или увечья.

Но, конечно, далеко не всегда я переживал именно это. То, что стало теперь совершенно неизменным, это все та же странная особенность, из-за которой я почти не принадлежал себе. Как только я оставался один, меня мгновенно окружало смутное движение огромного воображаемого мира, которое неудержимо увлекало меня с собой и за которым я едва успевал следить. Это был зрительный и звуковой хаос, составленный из множества разнородных вещей; иногда это бывала музыка далекого марша, обрамленная со всех сторон высокими каменными стенами, иногда это было безмолвное движение бесконечного зеленого ландшафта, перерезанного невысокими горами, который клубился передо мной с непонятной волнообразностью, иногда это была далекая окраина голландского города с неизвестно как возникавшими каменными корытами, куда с ровным журчанием стекала вода; и, углубляя это явное нарушение голландской действительности, к ним шли, одна за другой, женщины с кувшинами на голове. Во всем этом не было никогда никакой последовательности, и этот движущийся хаос явно не нес в себе даже отдаленную возможность сколько-нибудь гармонической схемы. И, соответственно этому, в те времена моей жизни, которые были отмечены таким постоянным присутствием хаоса, мое душевное существование приобрело столь же неверный и колеблющийся характер. Я не мог быть уверен в длительности того или иного чувства, я не знал, что придет ему на смену завтра или через неделю. И как в первых книгах, которые я прочел, научившись азбуке, меня поразило, что люди там говорят вполне законченными фразами с классическим расположением подлежащих и сказуемых и точкой на конце, в то время – казалось мне – как на самом деле никто никогда этого не делает, – так теперь мне представлялось почти непонятным, что тот или иной человек может быть бухгалтером или министром, рабочим или епископом и быть твердо убежденным, что именно это важнее и постоянное всего, словно ряса епископа или куртка рабочего таинственно и точно соответствовали подлинному назначению и призванию тех, на кого они были надеты. Я знал, конечно, что в данный отрезок времени и в данных условиях рабочий так же не становился епископом, как епископ не превращался в рабочего, и это нередко продолжалось до тех пор, пока смерть не уравнивала их с неумолимым безличием. Но я чувствовал также, что

мир, в котором одному из них суждено быть таким, а второму другим, может вдруг оказаться условным и призрачным, и тогда все опять неузнаваемо изменится. Другими словами, то, в чем проходило мое существование, было лишено для меня резко ограниченных и окончательных в каком-то смысле очертаний, в нем не было ничего постоянного, вещи и понятия, его составлявшие, могли менять форму и содержание, как непостижимые превращения бесконечного сна. И каждое утро, пробуждаясь, я смотрел со смутным удивлением на те же рисунки обоев на стенах моей комнаты в гостинице, которые всякий раз казались мне иными, чем накануне, потому что от вчерашнего до сегодняшнего дня произошло множество изменений, и я знал, не думая об этом, что и я успел измениться, увлекаемый неощутимым и неудержимым движением. Я жил тогда в почти отвлеченном мире и никогда не находил в нем той логики мыслей или вещей, которая казалась некоторым из моих прежних учителей чем-то неслучайным и окончательным, каким-то основным законом всякой произвольной эволюции и всякого человеческого существования.

И в эти же неверные и далекие времена я встретил человека, точно нарочно вызванного из небытия, чтобы появиться передо мной именно в ту эпоху моей жизни. Это был, собственно, не человек – это было какое-то неузнаваемо искаженное напоминание о ком-то другом, некогда существовавшем. Его больше не было, он исчез, но не бесследно, так как после него осталось то, что я увидел, когда он впервые подошел ко мне и сказал:

– Excusez-moi de vous déranger. Vous ne pourriez pas m’avancer un peu d’argent?¹

У него было темное лицо, покрытое густой рыже-седой щетиной, оплывшие глаза и дряблые веки, на нем была черная порванная шляпа, длинный пиджак, похожий на короткое пальто, или короткое пальто, похожее на очень длинный пиджак, темно-серого цвета, беловато-черные, лопнувшие во многих местах башмаки и светло-коричневые штаны, покрытые бесчисленными пятнами. Глаза его, однако, смотрели перед собой спокойно и ясно. Но меня особенно поразил его голос, который совершенно не соответствовал его внешнему виду, – ровный и низкий голос с удивительными интонациями уверенности в себе. В нем нельзя было не услышать звуковое отражение какого-то другого мира, чем тот, к которому явно принадлежал этот человек. Никакой бродяга или нищий не должен был, не имел ни возможности, ни права говорить таким голосом. И если бы мне было нужно неопровержимое доказательство того, что этот человек представлял собой живое напоминание о другом, исчезнувшем, то эти интонации и эта звуковая неожиданность были бы убедительнее, чем любые биографические сведения. Это сразу же заставило меня отнестись к нему с большим вниманием, чем то, которое я уделил бы обыкновенному оборванцу, обращающемуся ко мне за милостыней. Второе соображение, побудившее меня насторожиться, это был неестественно правильный французский язык, на котором он говорил.

Это происходило в конце апреля в Люксембургском саду; я сидел на скамейке и читал заметки о путешествии Карамзина. Он быстро посмотрел на книгу и заговорил по-русски – очень чистым и правильным языком, в котором, однако, преобладали несколько архаические обороты: «счел бы своим долгом», «соблаговолите принять во внимание». За очень короткое время он успел сообщить мне некоторые сведения о себе, которые показались мне не менее фантастическими, чем его вид, – там фигурировало туманное здание Петербургского университета, который он некогда кончил, историко-филологический факультет, и какие-то неточные и уклончивые упоминания об огромном богатстве, которое он не то потерял, не то должен был получить.

Я вынул десять франков и протянул ему. Он поклонился, сохраняя выражение идеально неуместного достоинства и сняв шляпу с какой-то такой волнообразностью движений, которой я ни у кого не видал. Затем он ушел неторопливой походкой, осторожно переставляя

¹ Извините, что я вас побеспокоил, не могли бы вы ссудить мне немного денег? (фр.)

ноги в порванных башмаках. Но и в его спине не было той испуганной настороженности или той физической несостоятельности, которые характерны для людей этой категории. Он медленно удалялся от меня; апрельское солнце уже садилось, и мое воображение, спеша на несколько минут, как плохие часы, уже создавало – вдоль люксембургской ограды – то сумеречное освещение, которое должно было наступить немного позже и которого тогда еще не было. И мне запомнилась эта фигура нищего именно в сумерках, которые еще не наступили. Она двигалась и исчезала, окруженная молочной мягкостью уходящего дня, и в таком виде, неверном и призрачном, напоминала мне некоторые образы моего воображения. Я вспомнил потом, вернувшись домой, что такое освещение, в котором точно чувствуется только что исчезнувший солнечный луч, оставивший в этом воздухе почти неуловимый, но несомненный след своего медленного растворения, – такое освещение я видел на некоторых картинах, и в частности на одном полотне Корреджио, которого, однако, я не мог восстановить в моей памяти.

Но усилия памяти незаметно для меня переходили в нечто другое, не менее привычное и только усилившееся за последнее время, – эту непрекращающуюся смену видений, которые преследовали меня. Я видел то женщину в глухом черном платье, проходившую тяжелой походкой по узкой улице средневекового города, то полного мужчину в европейском костюме и очках, растерянного и несчастного, который искал что-то, чего не мог найти, то высокого старика, идущего по извилистой пыльной дороге, то широко раскрытые и наполненные ужасом женские глаза на бледном лице, которое я почему-то давно и хорошо знал. И одновременно с этим я испытывал тягостные и чужие чувства, которые смешивались с моими личными ощущениями, связанными с тем или иным событием моей жизни. И я замечал, что некоторые душевные состояния, вызванные вполне определенными причинами, продолжали существовать уже после того, как эти причины исчезли, и я спрашивал себя, что же именно предшествовало чему – причины чувству или чувство причинам; и если это так, то не предопределяло ли оно в некоторых случаях нечто непоправимое и существенное, нечто принадлежащее к тому материальному миру, над которым, казалось бы, властны лишь законы тяготения и соотношения чисел. И другой неизменный вопрос возникал передо мной: чем я был связан с этими воображаемыми людьми, которых я никогда не выдумывал и которые появлялись с такой же неожиданностью, как тот, кто сорвался со скалы и в ком я умер не так давно, как эта женщина в черном, как те, кто еще, несомненно, ждал меня – с упорной жадностью кратковременного и призрачного воплощения во мне? Каждый из них был не похож на других, и их нельзя было спутать. Что связывало меня с ними? Законы наследственности, линии которых расходились вокруг меня такими причудливыми узорами, чьи-то забытые воспоминания, непонятно почему воскресавшие именно во мне, или, наконец, то, что я был частью чудовищно многочисленного человеческого коллектива и время от времени та непроницаемая оболочка, которая отделяла меня от других и в которой была заключена моя индивидуальность, вдруг теряла свою непроницаемость и в нее беспорядочно врывалось нечто, мне не принадлежавшее, – как волны, проникающие с разбега в расщелину скалы? Я никому не мог рассказать об этом, зная, что это было бы принято как бред или особенная форма сумасшествия. Но это не было ни тем, ни другим. Я был идеально здоров, все мускулы моего тела функционировали с автоматической точностью, никакой университетский курс не казался мне трудным, логические и аналитические мои способности были нормальными. Я не знал, что такое обморок, я почти не знал физической усталости, я был как будто бы создан для подлинного и реального мира. И вместе с тем другой, призрачный мир неотступно следовал за мной повсюду, и почти каждый день иногда в комнате, иногда на улице, в лесу или в саду я переставал существовать, я как таковой, такой-то и такой-то, родившийся там-то, в таком-то году, кончивший среднее учебное заведение несколько лет тому назад и слушавший лекции в таком-то университете, – и вместо меня с повелительной

неизбежностью появлялся кто-то другой. Этим превращениям предшествовали чаще всего мучительные физические ощущения, захватывавшие иногда всю поверхность моего тела.

Я помню, как однажды ночью, проснувшись, я явственно ощутил прикосновение к моему лицу моих длинных и жирных, неприятно пахнущих волос, дряблость моих щек и непонятно привычное чувство моего языка, касавшегося дыр в тех местах рта, где не хватало зубов. Через секунду, однако, понимание того, что я вижу это со стороны, и тяжелый запах, который я почувствовал сначала, исчезли. Потом медленно, как человек, постепенно различающий предметы в сумеречном освещении, – которое, кстати, было характерно для начала почти каждого моего видения, – я узнал то очередное и тягостное воплощение, которого я стал жертвой. Я увидел себя старой женщиной с дряблым и усталым телом нездоровой белизны. В душной комнате, куда через маленькое окно, выходившее в узкий и темный двор, теплыми летними волнами вливалась тяжелая вонь нищенского квартала, это одряхлевшее тело, по бокам которого свисали длинные и толстые груди и которого живот закрывал жировой складкой начало таких же толстых ног, с неправильными и черными ногтями пальцев, лежало на серо-белой и влажной от пота простыне. Рядом с ним спал, закинув голову с тугими и частыми завитками черных волос, оскалив по-собачьи, в тяжелом сне, белые зубы, мальчишка-араб, спина и плечи которого были покрыты прыщами.

Образ этой старой женщины недолго, однако, занимал мое воображение, она постепенно терялась в полутьме, – и я вновь находил себя на моей узкой кровати, в моей комнате с высоким окном над тихой улицей Латинского квартала. Утром, когда я проснулся и потом опять закрыл глаза, я увидел – на этот раз совершенно отчетливо со стороны, – что араба уже не было в комнате и в кровати оставался только труп старухи и запекшаяся кровь от страшной раны на шее. Больше я ее не видел, она исчезла навсегда. Но это было, несомненно, самое отвратительное ощущение, которое я испытал за всю мою жизнь, – ощущение этого старого тела, жирного и дряблого и в этой мучительной мускульной несостоятельности.

С того дня, когда в Люксембургском саду я встретил впервые пожилого русского нищего, так отчетливо и неподвижно запечатлевшегося в моей памяти – черная порванная шляпа, щетина на лице, разваливающиеся башмаки и это удивительное то ли пальто, то ли нечто похожее на пиджак, – прошло около двух лет. Это были длительные, почти бесконечные годы моей жизни, наполненные безмолвным роем бредовых видений, в которых скрещивались коридоры, ведущие неизвестно куда, вертикальные колодцы, похожие на узкие пропасти, экзотические деревья и далекое побережье южного моря, черные реки, текущие во сне, и непрерывная смена разных людей, то мужчин, то женщин, смысл появления которых неизменно ускользал от моего понимания, но которые были неотделимы от моего собственного существования. И почти каждый день я ощущал эту отвлеченную душевную усталость, которая была результатом многообразного и неотступного безумия, странным образом не задевавшего ни моего здоровья, ни моих способностей и не мешавшего мне сдавать в свое время очередной экзамен или отчетливо запоминать последовательность университетских лекций. Иногда вдруг этот бесшумный поток прекращался без того, чтобы какой бы то ни было признак указывал мне, что это вот-вот случится; и тогда я жил беспечно и бездумно, с наслаждением вбирая в себя зимний и влажный воздух парижской улицы и ощущая с животной силой восприятия вкус мяса, которое я ел в ресторане, разрывая жадными зубами его сочные куски.

В один из таких дней я сидел за столиком большого кафе на бульваре Montparnasse, пил кофе и читал газету. Позади меня уверенный мужской голос сказал, заканчивая, по-видимому – судя по финальной интонации, какой-то период, которого я не слышал:

– И поверьте, что у меня достаточный жизненный опыт, чтобы это утверждать.

Я обернулся. Мне показалось, что я уловил нечто знакомое в звуке этого голоса. Но человек, которого я увидел, был мне совершенно не известен. Я быстро осмотрел его: на

нем было плотное пальто, крахмальный воротничок, темно-красный галстук, синий костюм, золотые часы-браслет на руке. Он был в очках, перед ним лежала книга. Рядом с ним сидела блондинка лет тридцати, художница, которую я несколько раз встречал у каких-то знакомых; она курила папиросу и невнимательно, казалось, слушала его. Затем он закрыл книгу, снял очки, – он был, вероятно, дальновзорок, – и я увидел его глаза. И тогда, не веря самому себе, я узнал человека, которому я дал десять франков в Люксембургском саду. Но я мог его узнать только по глазам и по голосу, так как в остальном между этим господином в кафе и тем оборванцем, который два года тому назад подошел ко мне и попросил денег, не было решительно ничего общего. Я никогда не думал, что платье может так изменить человека. В его превращении было нечто неестественное и неправдоподобное. Это было какое-то обратное движение времени, казавшееся совершенно фантастическим. Два года тому назад этот человек существовал только как напоминание, теперь это напоминание почти чудесным образом вернулось к тому, кто ему некогда предшествовал и чье исчезновение должно было быть безвозвратным. Я не мог прийти в себя от искреннего изумления.

Художница поднялась и ушла, помахав мне на ходу рукой в знак приветствия и прощания одновременно. Тогда я подошел к его столику и сказал:

– Простите, мне кажется, что я имел удовольствие с вами где-то встречаться.

– Садитесь, пожалуйста, – ответил он со спокойной вежливостью. – Это делает честь вашей памяти. Вы первый из всех, с кем я был знаком в прежнее время и кто меня узнал. Вы говорите, что мы с вами встречались? Это совершенно верно. Это было в тот период времени, когда я жил в трущобе, на улице Simon le Franc. – Он сделал неопределенный жест рукой. – Вы хотели бы знать, что со мной случилось? Ну что ж, начнем с того, что чудес на свете не бывает.

– Еще несколько минут тому назад я думал так же, как вы. Теперь я начинаю в этом сомневаться.

– Напрасно, – сказал он. – Нет ничего более неверного, чем внешний аспект вещей. Строить на этом какие-либо утверждения можно, только заранее допустив совершенную произвольность. Через пять минут причины моей метаморфозы будут вам казаться абсолютно естественными. – Он уперся локтями в столик. – Не помню, говорил я вам в те времена...

И он рассказал мне, что именно с ним произошло, и в этом действительно не было ничего чудесного. В одном из балтийских государств – он не сказал котором – жил его старший брат, сохранивший после революции довольно крупное состояние. По словам моего собеседника, это был жестокий и скупой человек, остро и заранее ненавидевший всех, кто мог или мог бы обратиться к нему с просьбой о деньгах. Он был одинок, и наследников у него не было. Некоторое время тому назад он утонул, купаясь в море, и наследство досталось его брату, которого в Париже на улице Simon le Franc разыскал адвокат. После того как были выполнены формальности, он получил состояние, оценивавшееся во много сот тысяч франков. Тогда он снял квартиру на улице Молитор и жил там теперь один, проводя время, как он сказал, в чтении и приятном бездействии. Он пригласил меня как-нибудь зайти к нему без предупреждения, в такие-то или такие-то часы. Если я хотел уже наверное застать его дома, я мог бы предварительно позвонить по телефону. На этом мы с ним расстались. Я еще оставался в кафе, а он ушел, и я опять, как два года назад, смотрел ему вслед. Был холодный, в отличие от позапрошлого дня, апрельский день. Он шел по широкому проходу между столиками и медленно исчезал в мягком электрическом свете, в новом тугом пальто и новой шляпе, и теперь уверенность его походки не могла бы никому показаться неуместной, даже мне, которого она так поразила при нашей первой встрече.

Оставшись один, я задумался – сначала беспредметно и созерцательно; потом в этом бесформенном движении мыслей стали появляться более определенные очертания, и я начал

вспоминать, что было в это же время два года тому назад. Теперь было холодно, тогда было тепло, и тогда я так же остался сидеть на скамейке Люксембургского сада, как теперь в кафе после ухода этого человека. Но тогда я читал Карамзина; и тотчас же, забывая прочитанную страницу, я все возвращался к размышлениям об особенностях девятнадцатого столетия и о резком его отличии от двадцатого. Я думал даже о разнице политических режимов – мысль, вообще говоря, занимавшая мое внимание чрезвычайно редко, – и мне казалось, что девятнадцатый век не знал тех варварских и насильственных форм государственности, которые были характерны для истории некоторых стран именно в двадцатом столетии. Я вспоминал теории Дюркгейма об «общественном принуждении», *contrainte sociale*, и опять, отвлекаясь от университетского курса, переходил к суждениям более общего и более спорного порядка. Я думал, что глупость государственного насилия должна казаться современникам гораздо более очевидной, чем так называемым будущим историкам, которым должна быть непонятна именно личная тягостность этого гнета, соединенная с отчетливым пониманием его абсурдности. Я думал еще, что государственная этика, доведенная до ее логического пароксизма, – как кульминационный пункт какого-то коллективного бреда, – неизбежно приводит к почти уголовной концепции власти, и в такие периоды истории власть действительно принадлежит невежественным преступникам и фанатикам, тиранам и сумасшедшим; иногда они кончают жизнь на виселице или гильотине, иногда умирают своей смертью и их гроб провожают безмолвные проклятия тех, кто имел несчастье и позор быть их подданными. Я думал еще о Великом инквизиторе, и о трагической судьбе его автора, и о том, что личная, даже иллюзорная свобода может оказаться, в сущности, отрицательной ценностью, смысл и значение которой нередко остаются неизвестными, потому что в ней заключены, с предельно неустойчивым равновесием, начала противоположных движений.

Но теперь я был далек от этих мыслей, они казались мне темными и незначительными по сравнению с эгоистическими соображениями о моей личной судьбе, призрачная неверность которой не переставала занимать мое внимание, тем более что моя сегодняшняя встреча совпала по времени с концом этого счастливого периода существования, в котором я тогда находился и блаженность – я не мог найти другого слова – которого заключалась в том, что я жил эти недели, не видя снов и не думая ни о чем.

Уже за день до этого мной овладело смутное беспокойство, беспричинное, как всегда, и потому особенно тягостное. Оно усилилось через день и затем не покидало меня больше. Мне стало казаться, что мне угрожает какая-то опасность, столь же неопределенная, сколь непонятная. Если бы я не привык давно к неотступности этого призрачного мира, который так неизменно следовал за мной, я бы, может быть, стал бояться, что у меня начинается мания преследования. Но особенность моего положения заключалась именно в том, что, в отличие от людей, пораженных подлинным безумием, которые были бы твердо убеждены, что их действительно преследует кто-то невидимый и неуловимый, у кого множество агентов – кондуктор автобуса, прачка, полицейский, незнакомый господин в очках и в шляпе, – я знал, что моя тревога объясняется исключительно и всецело произвольным скачком воображения. Я знал, что, живя так, как жил я, не располагая почти никакими личными средствами, не будучи связан ни с какими политическими организациями, не занимаясь никаким видом общественной деятельности и вообще не выделяясь решительно ничем из анонимной многомиллионной массы парижского населения, я не мог быть целью преследования со стороны кого бы то ни было. Не существовало ни одного человека в мире, для которого моя жизнь могла представлять какой-либо интерес, не было никого, кто мог бы мне позавидовать. Я прекрасно понимал, что моя смутная тревога совершенно беспредметна и что для нее нет и не может быть никаких оснований. Но непостижимым образом я продолжал ее испытывать, и явная очевидность ее необоснованности не могла вывести меня из этого состояния. Однако, в противоположность маньякам, которых внимание бывает напряжено до крайности

сти и от которых не ускользает ни одна подробность из того, что происходит вокруг них и в чем они упорно ищут присутствия преследующего их врага, я жил и двигался, точно окруженный легким туманом, лишавшим предметы и людей резкой отчетливости контуров.

Я засыпал и просыпался с этим ощущением бесформенной тревоги и предчувствия. Та к проходили дни, и это продолжалось до той минуты, когда я – были сумерки парижского вечера, – бродя без цели по улицам незнакомой мне части города, свернул в узкий проход между домами. Было уже почти совсем темно. Проход оказался удивительно длинным, и когда я дошел до его конца, я очутился перед глухой стеной, откуда под прямым углом начинался поворот влево. Я направился к выходу, который, по моим расчетам, должен был находиться где-то близко. За поворотом было еще темнее. Я шел вдоль двух стен и смутно различал, что в одной из них время от времени попадались ниши, назначение которых мне представлялось загадочным. Я прошел так несколько десятков метров в мутной темноте, над которой было беззвездное небо; стояла полная тишина, нарушаемая только звуком моих шагов по неровной мостовой. И вдруг, когда я поравнялся с одной из тех ниш, которые я заметил в начале прохода, оттуда с необычайной быстротой и совершенной беззвучностью рванулась чья-то черная тень, и я за одну короткую часть секунды успел испытать тот смертельный ужас, к которому давно уже был подготовлен этим непрекращающимся, многодневным состоянием тревоги. Затем я почувствовал на своей шее цепкие пальцы человека, который так неожиданно и необъяснимо бросился на меня. Как это ни покажется странно, с этого момента я перестал испытывать и отвлеченную тревогу, и непосредственный ужас. Для этого, впрочем, у меня не оставалось времени. Но в том, что происходило тогда, уже было нечто реальное и несомненное, была действительность, а не неотразимая абстракция. Инстинктивным движением я напряг мускулы шеи. По неистовому зажиму пальцев, охвативших мое горло, было очевидно, что они принадлежали взрослому и сильному мужчине, на стороне которого вдобавок была неожиданность нападения. Но одновременно с этим мне было ясно, что, вопреки кажущемуся превосходству его положения и отчаянности моего собственного, преимущество в конечном итоге должно было остаться за мной. Я понял это в первую же секунду; я много времени занимался разными видами спорта, и в частности борьбой, и мне нетрудно было определить, что нападавший на меня человек не имел об этом никакого представления и мог полагаться только на свою физическую силу. Он, вероятно, ожидал, что я схвачу его за кисти рук и попытаюсь их отвести от моей шеи – естественная и чаще всего бесполезная защита неподготовленного человека. Но я нащупал в темноте, уже почти задыхаясь, его мизинцы, и потом резким движением обеих рук одновременно я отогнул их назад, ломая их нижние суставы. Он сразу ахнул и застонал, и мне стало непривычно легко дышать после того, как он отпустил мое горло. Теперь он безмолвно корчился передо мной в темноте, и в обычное время это, наверное, вызвало бы мое сострадание. Но я находился в припадке внезапной и бешеной злобы – так, точно этот неизвестный человек воплощал в себе причину той длительной тревоги, которую я испытывал все это время, так, точно виновником этого был именно он. Я толкнул его в одно плечо, одновременно притянув к себе другое, и когда он, не успев понять этого, повернулся ко мне спиной, я сзади захватил правой рукой, согнутой почти под прямым углом, его шею. Пальцами левой руки я зажал кисть правой и стал затягивать этот мертвый узел, ни на секунду его не ослабляя. Словом, я сделал то, что должен был сделать он, чтобы попытаться меня задушить, и чего он не сделал, подписав этим свой смертный приговор. Он дернулся несколько раз, но я знал, что положение его было безнадежно. Потом, когда всякое сопротивление кончилось, я разжал руки, и его труп тяжело и мягко упал к моим ногам. Было так темно, что я не мог рассмотреть как следует его лица, я заметил только, что у него были небольшие усы и черные курчавые волосы.

Я прислушался. По-прежнему вокруг меня стояла совершенная тишина, и когда я сделал первый шаг, то звук его мне показался тревожно-громким. Не оборачиваясь, я пошел

вперед. Вдалеке наконец показался неверный свет, по всей видимости, уличного фонаря, и я вздохнул свободно. Но в ту минуту, когда я почти дошел уже до выхода из этой ловушки, меня что-то ударило по голове с необыкновенной силой, и я потерял сознание.

Мне смутно казалось в забытии, что меня куда-то везут. По-видимому, ко мне был применен довольно сильный наркоз, потому что бессознательное или полусознательное мое состояние было неестественно долгим. Когда я наконец открыл глаза, я лежал на узкой каменной скамье в небольшой камере с высоким потолком и тремя серыми стенами. Четвертой стены не было: на ее месте сиял огромный световой прорез. Я совершенно потерял представление о времени. За глухой деревянной дверью слышались шаги и раздались голоса, говорившие что-то, чего я не разобрал. Потом они удалились. Я осмотрел камеру и только тогда увидел, что я был не один: справа от меня на второй каменной скамье сидел, прислонившись к стене и поджав под себя ноги, какой-то человек в лохмотьях. Глаза его были закрыты, но губы беззвучно шевелились. Затем он повернул голову ко мне, веки его медленно поднялись, и я встретил его взгляд – прозрачный, пустой и холодный настолько, что мне сразу стало не по себе. Все, что происходило потом, я помнил совершенно отчетливо, за исключением одной подробности, которой не могли восстановить никакие усилия моей памяти: я не помнил, на каком языке мы говорили, сначала он и я, затем все остальные. Мне казалось, что некоторые фразы были сказаны по-русски, другие – по-французски, третьи – по-английски или по-немецки.

– Позвольте вас приветствовать, – сказал человек в лохмотьях, и меня удивил тускло-невыразительный его голос. – Не имею удовольствия знать вашу фамилию.

Я назвал себя и спросил, не может ли он объяснить мне, где я нахожусь и почему я сюда попал.

– Вы находитесь в здании предварительного заключения.

– В здании предварительного заключения? – повторил я с изумлением. – Но по какому поводу?

– В ближайшем будущем вам, вероятно, будет предъявлено соответствующее обвинение – какое именно, я не знаю.

В световом прорезе, почти задевая его крылом, медленно пролетела огромная птица с голой шеей. Ее появление здесь и ответы моего собеседника показались мне настолько неправдоподобными, что я спросил:

– В какой стране все это происходит?

– Вы находитесь на территории Центрального государства.

Почему-то я нашел этот ответ удовлетворительным; вероятно, это объяснялось тем, что действие наркоза еще не окончательно прошло. Я встал с некоторым усилием, сделал несколько шагов, приблизился к просвету, явно заменявшему окно, – и невольно отшатнулся: он выходил во двор, и камера была на необыкновенной высоте, вероятно, тридцатого этажа. Против дома, отделенная от него расстоянием в сорок или пятьдесят метров, возвышалась сплошная стена.

– Бегство отсюда невозможно, – сказал мой сосед, следивший за каждым моим движением.

Я кивнул головой. Потом я сказал ему, что отказываюсь понимать, почему я сюда попал, что не знаю за собой никакой вины и что все это мне представляется совершенно абсурдным. Затем я спросил его, за что он арестован и что ему грозит. Тогда он первый раз улыбнулся и ответил, что в данном случае речь идет о явном недоразумении и что ему лично не угрожает никакое наказание.

– А что именно случилось с вами? – спросил он.

Я подробно рассказал ему о тех малоубедительных фактах, которые так неожиданно привели меня сюда. Он попросил меня сообщить ему еще некоторые данные из моей био-

графии и, выслушав меня до конца, сказал, что он вполне удовлетворен моими объяснениями и что он ручается за мое освобождение. Мне должно было показаться, что такое заявление со стороны оборванного арестанта звучит по меньшей мере странно. Но я принял его всерьез; мои аналитические возможности еще не вернулись ко мне.

Через некоторое время дверь камеры отворилась, и два вооруженных солдата, один из которых прокричал мою фамилию, повели меня по длинному коридору с розовыми стенами и многочисленными поворотами. На каждом повороте висел громадный, все один и тот же, портрет какого-то пожилого бритого человека с лицом, напоминавшим лицо среднего мастера, но с неестественно узким лбом и маленькими глазами. На человеке этом было нечто среднее между пиджаком и мундиром, увешанное орденами, якорями и звездами. Несколько статуй и бюстов этого же мужчины были расставлены вдоль стен. Мы дошли наконец – в полном безмолвии – до двери, через которую меня втокнули в комнату, где за большим столом сидел немолодой человек в очках. Он был в каком-то странном, полувоенном-полупштатском костюме, напоминавшем по покрою тот, который был изображен на портретах и статуях.

Он начал с того, что вынул из ящика стола огромный револьвер и положил его рядом с пресс-папье. Затем, резким движением подняв голову и глядя на меня в упор, он сказал:

– Вам, конечно, известно, что только чистосердечное признание может вас спасти?

После длительной ходьбы по коридору – солдаты шли быстрым шагом, и я должен был идти с такой же быстротой – я чувствовал, что почти полуобморочное состояние, в котором я до сих пор находился, сменилось наконец чем-то более нормальным. Я опять ощущал свое тело так, как всегда, то, что было перед моими глазами, я видел совершенно ясно, и теперь для меня было очевиднее, чем когда-либо, что все происходящее со мной – результат явного недоразумения. Одновременно с этим тюремная обстановка и перспектива произвольного допроса казались мне раздражающими. Я посмотрел на сидящего человека в очках и спросил:

– Простите, пожалуйста, кто вы такой?

– Здесь вопросов не задают! – резко ответил он.

– В этом есть какое-то противоречие, – сказал я. – Мне показалось, что в вашем голосе, когда вы обратились ко мне, звучала явно вопросительная интонация.

– Поймите, что речь идет о вашей жизни, – сказал он. – Диалектикой заниматься теперь поздно. Но, может быть, вам полезно будет напомнить, что вы обвиняетесь в государственной измене.

– Ни более ни менее?

– Ни более ни менее. И не стройте себе никаких иллюзий: это – страшное обвинение.

Повторяю, что только полное признание может вас спасти.

– В чем же выражается моя государственная измена?

– Вы имеете наглость это спрашивать? Хорошо, я вам скажу. Государственная измена заключается уже в том, что вы считаете возможным допускать преступный принцип законности псевдогосударственных идей, которые противоречат великой теории Центрального государства, выработанной лучшими гениями человечества.

– То, что вы говорите, настолько нелепо и наивно, что на это как-то неловко отвечать. Я хотел бы только вам заметить, что возможность допущения того или иного принципа есть теоретическое положение, а не факт, в котором можно обвинять человека.

– Даже здесь, в трибунале центральной власти, вы говорите таким языком, в котором каждое слово отражает вашу преступность. Прежде всего, представитель власти, а в частности следователь, для вас непогрешим и ни одно из его выражений не может быть названо ни наивным, ни нелепым. Но дело не только в этом, хотя теперь, после того, что вы сказали, ваша вина усугубляется еще одним пунктом: оскорбление представителей центральной вла-

сти. Вы обвиняетесь в государственной измене, в заговоре на жизнь главы государства и, наконец, в убийстве гражданина Эртеля, одного из наших лучших представителей вне пределов нашей территории.

– Кто такой Эртель?

– Человек, которого вы убили. Не пытайтесь этого отрицать: центральной власти известно все. Полное сознание – это последний жест, который вы можете сделать и которого от вас ждет государство и общественное мнение всей страны.

– Единственное, на что я могу ответить, касается Эртеля. Этот человек был наемным убийцей. Я находился в состоянии законной самозащиты. Эртель, по-видимому, никогда до тех пор не имел дела с людьми, которые привыкли защищать свою жизнь, и его неловкость его погубила. Что же касается остальных обвинений, то это невежественный вздор, очень дурно характеризующий умственные способности того, кто его выдумал.

– Вы будете жестоко раскаиваться в ваших словах.

– Обращаю ваше внимание на то, что глагол «раскаиваться» составляет неотъемлемую часть понятий явно религиозного происхождения. Мне было странно его слышать в устах представителя центральной власти.

– Что вы скажете во время очной ставки с вашими сообщниками?

Я пожал плечами.

– Довольно! – сказал он и выстрелил из револьвера: пуля вошла в стену метра на полтора выше моей головы.

Дверь отворилась, и те же солдаты, которые привели меня, вошли в комнату.

– Отведите обвиняемого в камеру, – сказал следователь.

Только тогда, возвращаясь в камеру, взглядывая время от времени на портреты и статуи, я подумал, что действовал неправильно и не должен был отвечать следователю так, как я отвечал. Мне надо было просто доказывать ему, что я никак не могу быть тем, за кого он меня принимает. Вместо того чтобы занять именно эту позицию, я говорил с ним так, точно принимал какую-то абсурдную законность его аргументации и, не будучи с ней согласен, так сказать, диалектически, я все-таки оставался в том же плане, что и он. Вместе с тем было очевидно, что я был совершенно чужд миру, в который я попал. Лица конвоировавших меня солдат отражали полное отсутствие какой бы то ни было мысли или какого бы то ни было душевного движения. Портреты были похожи на олеографии, выполненные мастеровым, которого художественное убожество невольно вызывало жалость и презрение; статуи были такими же. То, что говорил мне следователь, носило печать такой же свирепой умственной нищеты, и в мире, из которого я пришел, подобный человек не мог бы занимать никакого места в судебном аппарате.

Вернувшись в камеру, я собирался рассказать о допросе моему соседу, но меня тотчас же увели опять, на этот раз в другом направлении, и я попал ко второму следователю, который обращался со мной несколько иначе, чем первый.

– Нам известно, – сказал он, – что мы имеем дело с человеком сравнительно культурным, а не простым наемником той или иной политической организации, которая нам враждебна. Вы знаете, что мы окружены врагами и это вынуждает нас к сугубой осторожности и заставляет нас иногда принимать меры, которые могут показаться слишком крутыми, но которых не всегда удастся избежать. Именно так произошло с вами. Мы знаем, или, во всяком случае, хотим надеяться, что ваша вина меньше, чем это может показаться на первый взгляд. Будьте откровенны с нами, это и в ваших, и в наших интересах.

По тому, как он говорил, было понятно, что он, конечно, гораздо опаснее первого следователя. Но я был почти рад этому: с ним можно было разговаривать другим языком.

– Я понимаю ваше раздражение во время первого допроса, – продолжал он. – Произошла ошибка, чрезвычайно досадная: следователь, к которому вы попали, обычно ведет

только самые простые дела, хотя неизменно стремится к вещам, явно превышающим его компетенцию. Он, видите ли, выдвинулся по партийной линии, к нему нельзя предъявлять особенно строгих требований. Но перейдем к делу. Вам известно, в чем вы обвиняетесь?

– Я хотел бы знать, – сказал я, – за кого меня принимают. Для меня очевидно, что все происходящее сейчас – результат недоразумения, которое мне хотелось бы выяснить. Моя фамилия, – я назвал свою фамилию, – такая-то, я живу в Париже и учусь в университете, на историко-филологическом факультете. Я никогда – как это легко установить при самом поверхностном следствии – не занимался политической деятельностью и не состоял ни в какой политической организации. Обвинения в том, что у меня были какие-то террористические намерения, настолько абсурдны и произвольны, что останавливаться на них я не считаю нужным. Я допускаю, что человек, за которого меня принимают, мог быть и террористом, и вашим политическим противником. Но ко мне это не имеет никакого отношения. И я надеюсь, что ваш государственный аппарат окажется все-таки достаточно рационально организованным, чтобы это установить.

– Стало быть, вы утверждаете, что Розенблат ошибся? Если так, то дело принимает для вас действительно трагический оборот.

– Кто такой Розенблат? Я впервые слышу эту фамилию и никогда не видел этого человека.

– Я должен сказать, что вы сделали все, чтобы никто и никогда его больше не увидел: вы его задушили.

– Позвольте, полчаса тому назад мне сказали, что его фамилия была Эртель.

– Это ошибка.

– Как, опять ошибка?

– Я никогда не ценил Розенблата, я лично, – продолжал следователь. – Когда вы назвали его наемным убийцей, вы были недалеко от истины. Несчастье заключается в том, что он был единственным, кто мог вас спасти. Вы лишили его этой возможности. У нас лежит его секретный рапорт о вас и о вашей деятельности. Приведенные там сведения слишком подробны и точны, чтобы быть вымышленными. К тому же этот человек был абсолютно лишен фантазии.

– Очень может быть, что сведения, которые заключаются в его рапорте, совершенно точны. Но единственное и самое важное соображение в данном случае – это что речь идет о ком-то другом, а не обо мне.

– Да, но как это доказать?

– Этот человек, в частности, не мог быть похож на меня, как близнец. Кроме того, он носил, я полагаю, другую фамилию. Есть, наконец, отличительные признаки: возраст, цвет волос, рост и так далее.

– Рапорт Розенблата, весьма обстоятельный во всем другом, не содержит, к сожалению, именно этих указаний. Кроме того, строго говоря, почему я должен верить вам, а не ему?

– Вы можете не верить мне. Но нет ничего проще, как навести справки в Париже.

– Мы всячески избегаем контакта с иностранной полицией.

Я начинал понимать, что мое положение безвыходно. Судебный аппарат Центрального государства отличался полным отсутствием гибкости и какого-либо интереса к обвиняемому; функции его были чисто карательными. Тот примитивизм, который характерен для всякого правосудия, здесь был доведен до абсурда. Существовала одна схема: всякий попавший в суд обвинялся в преступлении против государства и подлежал наказанию. Возможность невинности обвиняемого теоретически существовала, но ею надлежало пренебрегать. По-видимому, в моих глазах отразилось нечто похожее на отчаяние, потому что следователь сказал:

– Боюсь, что доказать ошибку у вас нет материальной возможности. Тогда вам остается или упорствовать в бесплодном отрицании и тем самым умышленно идти на смерть, или подписать признание и примириться с тем, что вы проведете некоторое время в заключении, после чего вас снова ждет свобода.

– Полагаете ли вы, что обвиняемый должен быть в первую очередь честен?

– Несомненно.

– В таком случае я не могу подписать признание в том, чего я никогда не делал: поступая так, я бы сознательно ввел в заблуждение судебные инстанции Центрального государства.

– Идеологически вы правы. Но вопрос не в этом. Вы вынуждены действовать в пределах ваших возможностей. Они, к сожалению, недостаточно широки, тут я с вами согласен. Определим их еще раз. Полное отрицание вины и возможность высшей меры наказания – с одной стороны. Признание и временное лишение свободы – с другой. Все остальное – теория. Советую вам подумать об этом. Я вызову вас в ближайшее время.

Вернувшись в камеру, я подробно рассказал своему соседу о первом и втором допросе. Он слушал меня, сидя все в той же позе и закрыв глаза. Когда я кончил, он сказал:

– Это легко было предвидеть.

Я еще раз посмотрел на его лохмотья и на небритое его лицо и вспомнил, что этот человек обещал мне освобождение.

– Вы думаете, можно что-нибудь сделать?

– Видите ли, – сказал он, не отвечая, – я знаю эти законы лучше, чем любой следователь. Это, собственно, не законы, это дух системы, а не свод тех или иных положений.

Он говорил так, точно читал лекцию.

– Отсутствие элементарных правовых норм ухудшается еще тем, что рядовые работники судебного ведомства отличаются чудовищной некультурностью и смешивают свои функции с функциями некоего юридического палача. Вы можете разбить их аргументацию и доказать им как дважды два четыре, что они не правы и их обвинительный акт составлен с наивной глупостью, что чаще всего соответствует действительности. Но это не играет никакой роли. Вас все равно приговаривают к наказанию – не потому, что вы виноваты и это доказано, а потому, что так понимаются задания центрального правосудия. Всякое рассуждение в принципе вещь наказуемая и отрицательная. Спор с юстицией – государственное преступление, так же, как сомнение в ее непогрешимости. Существует десяток формул, каждая из которых есть выражение особого вида невежественной глупости; в этот десяток формул втискивается вся многообразнейшая деятельность миллионов и миллионов людей. Бороться против этой системы, которую трудно определить в двух словах...

– Я бы сказал: свирепый идиотизм.

– Прекрасно. Бороться, стало быть, против этого свирепого идиотизма рациональным путем невозможно. Надо действовать иначе. Какие методы борьбы вы применили, когда Эртель-Розенблат хотел вас задушить?

– Те, которым меня научили преподаватели спорта.

– Хорошо. Если бы вы действовали иначе, вас бы уже наверное не было на свете.

– Очень возможно, – сказал я. И я вспомнил тьму, зажим пальцев на моей шее и то, как я начал задыхаться.

– В данном случае, зная, что вы ничего не достигнете ни тем, что вы правы, ни тем, что вы можете это доказать, вы должны действовать другим путем. Я нашел этот путь; мне это стоило очень дорого, но теперь я не боюсь ничего. Мой способ действия непогрешим, и поэтому я обещал вам, что вас освободят. Я еще раз вам это подтверждаю.

– Извините меня, но если вы располагаете таким могущественным средством борьбы, то как могло случиться, что вы оказались там же, где я?

– Я вам сказал уже, что это – недоразумение, – ответил он, пожав плечами. – Меня арестовали ночью, когда я спал.

– Какое же это средство?

Он долго молчал, и губы его беззвучно шевелились, как в первый раз, когда я его увидел. Потом он сказал, не поднимая головы:

– Я гипнотизер. Заключение следователя ему диктую я.

– А если он не поддается гипнозу?

– Такого случая я еще не встречал. Но даже если он не поддается этой форме гипноза, он поддается другой.

– Иначе говоря...

– Иначе говоря, я заставил бы его покончить жизнь самоубийством и дело бы перешло к другому, который бы мне подчинялся.

– Еще одно, – сказал я, удивляясь уверенности, с которой он говорил. – Следователь в ближайшее время вызовет меня, но вас при этом не будет. Вы можете подчинить себе его волю на расстоянии?

– Это было бы значительно труднее. Но нас с вами вызовут почти одновременно.

– Как вы можете это знать?

– Когда вас допрашивал первый следователь, меня допрашивал второй.

Потом этот спокойный человек погрузился в полное молчание, которого не нарушал в течение тех трех дней, что длилось мое ожидание следующего допроса, на котором должны были произойти – если верить ему – такие невероятные события. Два раза в сутки нам приносили пищу, которой я не мог есть сначала, настолько она была отвратительна. Только на третий день я проглотил несколько ложек какой-то светло-серой жидкости и съел кусок плохо выпеченного и упруго-противного хлеба. Я чувствовал себя ослабевшим, но мое сознание оставалось совершенно ясным. Мой сосед за все это время не притронулся к пище. Чаше всего он оставался неподвижным, и было непонятно, как его мускулы и суставы выдерживали это длительное напряжение. Лежа на своей каменной койке, я думал о том, насколько действительность была фантастической и как во всем, что меня окружало, был ясно ощущаемый смысл непроницаемой безвыходности: геометрическая совокупность стен и потолка, заканчивающаяся открытым выходом в тридцатитажную пропасть, где то светило солнце, то шел дождь, и постоянное, неподвижное присутствие со мной этого удивительного обрыванца. Один раз, чтобы как-нибудь прервать это каменное безмолвие, я начал свистать арию из «Кармен», но мой свист звучал так тускло и дико и был так явно не к месту, что я тотчас же прекратил его. Я успел много раз обдумать во всех подробностях то, что со мной случилось, и констатировать, что, несмотря на несомненное присутствие в этом известной последовательности, соединение тех фактов, которые я восстанавливал в своей памяти, должно было, конечно, показаться совершенно иррациональным. Меньше всего я думал об опасности, которая мне угрожала, и вопреки внешней неправдоподобности того, что обещал мне мой сосед, я верил каждому его слову.

Наконец вечером третьего дня за мной пришли. Я поднялся и ощутил в первый раз за все время необыкновенный холод внутри – быть может, отдаленный страх смерти, быть может, темную боязнь неизвестности. Я знал, во всяком случае, что я лично был лишен возможности защищаться. И я успел подумать о том, насколько все было проще и насколько я меньше был в опасности тогда, в этом темном парижском проходе, когда руки неизвестного убийцы сжимали мне горло. Тогда спасение моей жизни зависело от меня, от элементарного присутствия духа и привычной для меня быстроты движений. Теперь я был беззащитен.

Меня ввели в кабинет следователя. Он предложил мне сесть и дал мне папиросу. Потом он спросил:

– Вы обдумали то, что я вам говорил в прошлый раз?

Я кивнул головой. Ощущение холода внутри непонятным образом мешало мне говорить.

– Вы подпишете ваше признание?

Мне потребовалось сделать над собой необыкновенное усилие, чтобы ответить на вопрос следователя отрицательно. Вместе с тем я знал, что только слово «нет» могло меня – может быть! – спасти. Мне казалось, что у меня не хватит сил произнести его, и я понял в эту секунду, почему люди сознаются в преступлениях, которых они не совершали. Все мускулы моего тела были напряжены, лицо мое налилось кровью, у меня было ощущение, что я поднимаю огромную тяжесть. Наконец я ответил:

– Нет.

И после этого все сразу ухнуло передо мной, и мне показалось, что я теряю сознание. Но я явственно услышал голос следователя:

– Нам удалось выяснить, что ваши показания, довольно убедительные на первый взгляд – это отягчает вашу вину, – ложь. Тот, кто был вашей правой рукой в организации, которую вы возглавляли, выдал вас и подписал полное признание.

Я вдруг сразу почувствовал себя легче. Но у меня было впечатление, что мой голос звучал очень неуверенно.

– Ни человека, ни организации, о которых вы говорите, никогда не существовало. Ваша система обвинения абсурдна.

И в это время дверь открылась и солдаты ввели моего соседа по камере. Потом они удалились. Я быстро посмотрел на него; мне показалось, что он сразу стал выше ростом.

– Вы не будете отрицать, что узнаете этого человека? – спросил следователь.

– Узнаю.

Он явно хотел еще что-то прибавить, но удержался. Наступило молчание. Он встал со своего кресла и сделал несколько шагов по комнате. Затем он подошел к окну и отворил его. Потом он зигзагами вернулся к своему месту, но не сел, а остался стоять в неестественной и неудобной позе полусогнутого человека. У меня было впечатление, что с ним происходит нечто необъяснимое и тревожное.

– Вы плохо себя чувствуете? – спросил я. Он не ответил. Человек в лохмотьях пристально смотрел на него, стоя неподвижно и не произнося ни слова.

Следователь опять подошел к окну и высунулся из него наполовину. Потом он сел наконец за стол и начал писать. Несколько раз он рвал листы бумаги и бросал их в корзину. Это продолжалось довольно долго. Лицо его покрылось каплями пота, руки дрожали. Затем он встал и сказал сдавленным голосом:

– Да. Я понимаю, что вы стали жертвами чудовищной ошибки. Я обещаю вам, *как вы того требуете*, произвести по этому поводу строжайшее расследование и жестоко наказать тех, кто в этом виноват. Центральная власть в моем лице просит вас принять ее извинения. Вы свободны.

Он позвонил. Вошел офицер в голубом мундире. Он передал ему пропуск, мы вышли из кабинета и опять углубились в бесконечные переходы и коридоры, стены которых были густо увешаны все теми же картинами, и получалось впечатление, что мы идем вдоль какого-то портретного строя полуофицеров-получиновников, многочисленных и одинаковых. Наконец мы дошли до огромных ворот, которые беззвучно распахнулись перед нами. Тогда я повернул голову, чтобы обратиться к моему спутнику, но чуть не остановился от изумления. Человека в лохмотьях больше не было. Рядом со мной шел высокий бритый мужчина в прекрасном европейском костюме, и на его лице была насмешливая улыбка. Когда ворота так же бесшумно затворились за нами и раньше, чем я успел сказать слово, он сделал мне приветственный жест рукой, повернул направо и исчез. Сколько я ни искал его глазами, я не мог его найти.

Был душный летний вечер, на улицах горели фонари, гудели проезжавшие автомобили, зажигались зеленые и красные огни на перекрестках. Испытывая счастливое чувство свободы, я думал одновременно о том, что я буду делать в этом чужом городе чужой страны, где я никого не знаю и где у меня нет пристанища. Но я продолжал идти. Автомобильное движение стало затихать. Я перешел неширокую реку по мосту, с обеих сторон которого были огромные статуи русалок, потом пересек какой-то бульвар и начал подниматься по улице, отходившей оттуда несколько вкось. Там уже было совсем тихо. Я прошел так две-сти или триста метров. На повороте этой улицы, за которой шла другая, вся застроенная одноэтажными или двухэтажными особняками, неяркий фонарь освещал металлическую синюю дощечку, прибитую к стене. Я подошел к ней вплотную – и тогда с удивительной медленностью, точно из далекого сна, белые буквы латинского алфавита, сначала совершенно расплывчатые, потом затвердевающие и становящиеся все более и более отчетливыми, возникли перед моими глазами. Они появились, затем стали мутными и снова расплылись, но через секунду появились опять. Я вынул папиросу и закурил, обжигая себе пальцы спичкой, – и только тогда я понял счастливую последовательность этих знаков. На синей таблице белой краской были выведены слова: 16 Arr-t. Rue Molitor.

Я давно привык к припадкам моей душевной болезни, и в том, что у меня оставалось от моего собственного сознания, в этом небольшом и смутном пространстве, которое временами почти переставало существовать, но в котором все-таки заключалась моя последняя надежда на возвращение в реальный мир, не омраченный хроническим безумием, – я старался стоически переносить эти уходы и провалы в чужое или воображаемое бытие. И все-таки каждый раз, когда я оттуда возвращался, меня охватывало отчаяние. В невозможности победить этот необъяснимый недуг было нечто вроде сознания своей обреченности и какого-то нравственного увечья, которое делало меня не похожим на других, точно я не заслуживал общедоступного счастья быть таким же, как все. В тот вечер, когда я прочел эти буквы на синей дощечке, после нескольких секунд радости я испытал нечто похожее на тягостное чувство человека, которому еще раз был подтвержден неумолимый диагноз. Вечерний Париж показался мне иным, чем всегда, и, конечно, не таким, каким он был, и эта перспектива фонарей и листьев, освещенных фонарями, только оттеняла с трагической убедительностью ту непоправимую печаль, которую я ощущал. Я думал о том, что мне предстоит в будущем и как сложится моя жизнь, мое подлинное существование, которое мне было так трудно нащупать и отыскать в этой массе болезненных искажений фантазии, преследовавших меня. Я не мог довести до конца ни одной задачи, требующей длительного усилия или для разрешения которой была необходима известная и непрерывная последовательность. Даже в мои отношения с людьми всегда входил или всегда мог войти тот элемент бредового затмения, которого я мог ожидать каждую минуту и который искажал все. Я не мог быть целиком ответственен за свои поступки, не мог быть убежден в реальности происходившего, мне нередко было трудно определить, где кончается действительность и где начинается бред. И теперь, когда я шел по Парижу, этот город казался мне не более убедительным, чем столица фантастического Центрального государства. Я начал свое последнее путешествие именно с Парижа; но где и когда я мог видеть нечто похожее на тот воображаемый лабиринт, куда меня повлекло властное движение моего безумия? Реальность этого прохода была, однако, предельна, и я помнил его поворот и эти непонятные углубления его стен не менее ясно, чем все дома улицы, на которой я действительно жил в Латинском квартале. Я знал, конечно, что улица существует, а проход возник только в моем воображении; но эта бесспорная разница между улицей и проходом была лишена для меня той каменной и неподвижной убедительности, которую она должна была иметь.

Затем мои мысли приняли другое направление. Почему именно я очутился здесь, в этом квартале Парижа, а не в другом, не на Монмартре, например, или на Больших бульва-

рах? Вряд ли это могло быть случайным. Я не мог вспомнить, куда я направлялся, когда я вышел из дому, и что побудило меня предпринять это путешествие. Во всяком случае, я шел, не видя ни домов, ни улиц, потому что в это же время я находился в тюрьме Центрального государства; но все-таки я двигался в определенном направлении и, вероятно, не ошибся в маршруте, хотя было очевидно, что та часть моего сознания, которая вела меня всю дорогу, действовала вне какого бы то ни было контроля с моей стороны. Она должна была быть автоматически безошибочна, как это случается всякий раз, когда человек не думает о том, что он делает, и его движения приобретают быстроту и точность, которые были бы невозможны, если бы эти движения направлялись сознанием. Тот факт, что я оказался здесь, не был случайным. Но куда я мог идти? Несколько лет тому назад я часто проходил этой дорогой, потому что тут жила женщина, с которой я был близок, и в те времена я знал каждый дом и каждое дерево на этом пространстве. Но я расстался с ней уже давно, и после этого улицы, ведущие к ее дому, потеряли их прежний волнующий вид, и их ровные перспективы, в конце которых было здание и квартира на пятом этаже, где был сосредоточен для меня целый мир, одновременно прозрачный и теплый, — представляли передо мной неузнаваемо чужими.

Я не мог вспомнить и почувствовал себя настолько усталым, что решил прекратить эти бесплодные поиски и вернуться домой. В конце концов, это не имело особенного значения. Я долго ехал в метро, потом вышел оттуда на станции «Одеон» и направился к своей гостинице, побуждаемый одним непреодолимым желанием — лечь и заснуть; и когда я наконец оказался в постели, была уже ночь, на улице слышались редкие шаги, женский голос пел из незримого граммофона «Autrefois je riais de l'amour»², я быстро погружался в печальный мрак, беззвездный и теплый, как эта ночь, и вдруг, в последнюю секунду моего пребывания по эту сторону сна, я вспомнил, что собирался быть сегодня вечером на rue Molitor, у моего знакомого, того самого, который так чудесно и неожиданно разбогател.

—

Я попал к нему несколькими днями позже. На этот раз ни его квартира, ни телефон на письменном столе, ни книги на этажерках, ни необыкновенная чистота, которая была видна повсюду, не удивили меня — во-первых, потому, что я не мог быть больше удивлен, чем тогда, когда встретил его в кафе; во-вторых, оттого, что, прожив годы в нищенских притонах, он должен был естественно испытывать тяготение именно к вещам противоположного порядка: вместо апокалипсической грязи — чистота, вместо небрежности — аккуратность, вместо заплеванного каменного пола — блестящий паркет. Совершенно так же в его манере держаться и во всех его движениях чувствовалась судорожная напряженность свежего барства, со стороны казавшаяся, особенно вначале, несколько стеснительной.

Когда я пришел к нему — это было часа в четыре пополудни, он был не один. У него сидел в какой-то выжидательно-унизительной позе, — и я подумал еще раз, насколько то, что в статьях об искусстве или о театре называлось «пластикой», насколько это находилось в жестокой и почти всегда неременной зависимости от условий жизни, среды и состояния здоровья и как это было по-немому выразительно, — небольшой человек лет пятидесяти, с неопределенно-серыми волосами и маленькими глазами, избегавшими глаз собеседника. Он был очень бедно одет; он держал в руках помятую и грязную кепку, которая когда-то была светлосерой — это можно было заметить по тому, что у самого ее козырька, защищенные кнопкой, виднелись светлые клетки материи. Когда я вошел, человек с кепкой, до этого что-то говоривший, замолчал и посмотрел на меня сердито и испуганно в одно и то же время. Но хозяин дома встал, поздоровался со мной — он был подчеркнуто любезен, попросил у меня извинения и сказал своему посетителю:

— Вы можете продолжать, я вас слушаю. Вы говорите, что это произошло в Лионе?

² «Было время, когда я смеялся над любовью» (фр.).

– Да, да, в Лионе. Та к вот, изволите видеть, после того, как я был арестован...

И он довольно складно рассказал, как он ехал на мотоциклете, сбил нечаянно с ног прохожего и как после этого началась длинная серия его несчастий. По тому, как он это говорил, без запинки и с удивительной невыразительностью, так, точно речь шла не о нем, а о каком-то третьем лице, участь которого вдобавок ему совершенно безразлична, было видно, что он повторял эту историю много раз и она даже для него самого потеряла всякую убедительность. Я не знаю, отдавал ли он себе в этом отчет. Все сводилось к тому, что после выхода из тюрьмы у него отобрали бумаги и теперь он был лишен возможности поступить на какую бы то ни было работу и оказался, таким образом, в безвыходном, как он сказал, положении. Когда он произнес это, я вдруг вспомнил, что однажды уже видел его и слышал именно эти слова, интонация которых никогда, по-видимому, не менялась. Я даже вспомнил, где и в каких обстоятельствах это происходило: это было возле Монпарнасского вокзала, и его слушателем тогда был грузный мужчина с полукупеческой-полуразбойничьей бородой и таким же лицом – широким, хамским и важным одновременно. После этих слов о безвыходности он сделал паузу и потом сказал, несколько отвернувшись и равнодушно всхлипнув два раза, что если ему не помогут, то ему остается только самоубийство. Он прибавил, взмахнувши при этом рукой, с небрежным отчаянием, что он лично давно потерял вкус к жизни, – он выразился иначе, но смысл был именно такой, – а вот жены ему жаль, она, быть может, не вынесет этого, она и так всегда тяжело хворает не по своей вине. Мне казалось, что упоминание о вине было по меньшей мере странным, но он тотчас же пояснил, что второй муж его жены – сам он был третьим – заразил ее сифилисом, и вот теперь это, как он сказал, все время отражается на ее здоровье.

– Да, – задумчиво сказал хозяин, – действительно... – И потом спросил совершенно другим голосом: – Кто вам дал мой адрес?

– Как вы говорите?

– Я вас спрашиваю, кто вам дал мой адрес?

– Я, извините, проходил, так вот подумал, может, здесь русские живут...

– Одним словом, не хотите говорить. Дело ваше. Только я-то знаю, что ваша фамилия Калиниченко, арестованы вы были не в Лионе, а в Париже, и не за то, что кого-то сбили мотоциклетом, а за кражу.

Человек с кепкой пришел в необыкновенное волнение и сказал, заикаясь от злобы, что раз о нем такое несправедливое мнение, то он лучше уйдет. Приниженность его исчезла, и маленькие его глаза приняли свирепое выражение. Он встал и быстро вышел, не попрощавшись.

– Вы его знаете? – спросил я.

– Конечно, – ответил он. – Мы все более или менее знаем друг друга, я хочу сказать, все, кто принадлежит или принадлежал к этой среде. Он только не думал, что Павел Александрович Щербаков, живущий в этой квартире, и адрес, который ему дал Костя Воронов, хотя он мне клялся, что никому его не сообщит, что этот Щербаков – тот же самый, который жил на rue Simon le Franc. Иначе он, конечно, не стал бы мне рассказывать историю с Лионом и мотоциклетом, которую ему придумал и сочинил за тридцать франков Чернов, бывший писатель, потому что у него самого не хватило бы на это воображения.

– Он же изобрел больную жену?

– Не совсем, – сказал Щербаков. – Женат мой посетитель никогда не был – насколько я знаю, в этой среде многие юридические формальности не нужны, но женщина, с которой он живет, действительно сифилитичка. Не могу вам сказать, впрочем, была ли и она когда-нибудь замужем; сомневаюсь. Согласитесь, что это не имеет значения. А теперь, после всего этого, разрешите мне наконец сказать, что я рад вас видеть у себя.

И разговор тотчас же принял совершенно другой характер, подчеркнуто культурный; в нем, как и во всем остальном, чувствовалось желание Павла Александровича забыть о том, что предшествовало теперешнему периоду его жизни. Но начал он все-таки – иначе он не мог – именно с этого сопоставления.

– Я так долго был лишен, – сказал он, – доступа к тому миру, который некогда был моим... Может быть, потому, что я плохой философ и уж наверное не стоик. Я хочу сказать, что для философа внешние условия жизни – вспомните пример Эзопа – не должны были бы играть никакой роли в развитии человеческой мысли. Но должен вам признаться, что некоторые материальные подробности, во власти которых может оказаться человек, – насекомые, грязь, холод, дурные запахи... – он сидел в глубоком кресле, курил папиросу, и перед ним стояла чашка кофе, – все это действует самым неприятным образом. Может быть, это закон душевной мимикрии, который идет слишком далеко. Это, в конце концов, понятно: мы знаем иногда, какие обстоятельства обуславливают начало действия того или иного биологического закона, но мы не можем предвидеть, когда это действие прекратится, и не можем быть уверены, что оно во всем будет целесообразно. Почему, собственно, оттого, что я живу в недостаточно хороших условиях, король Лир или Дон Кихот теряют для меня значение? А между тем это так.

Я слушал его рассеянно, перед моими глазами, упорно возвращаясь, все вставал тот апрельский день позапрошлого года, когда я его увидел впервые, его декоративные лохмотья и темное, небритое лицо. Теперь над его головой стояли книги в тяжелых кожаных переплетках, и это медлительное щегольство его речи ни в какой степени не могло казаться неуместным. Я провел с ним целый вечер и ушел, унося с собой воспоминание об этой неправдоподобной метаморфозе, которую я все никак не мог переварить и в которой было нечто резко противоречившее всему, что я до сих пор, сознательно или бессознательно, считал приемлемым. Этот человек начинался в области фантазии и переходил в действительность, и в его существовании – для меня – был элемент роскошной абсурдности какого-нибудь персидского сказания, и я не мог к этому привыкнуть.

Через некоторое время после этого мне пришлось – совсем случайно – опять столкнуться с обитателями rue Simon le Franc. Я встретил одного из моих бывших товарищей по гимназии, которого я давно потерял из вида, но о котором время от времени читал в газетах, чаще всего по поводу его очередного ареста или судебного приговора. Это был удивительный человек, хронический алкоголик, который прожил целую жизнь в пьяном тумане и которого только необыкновенное здоровье предохраняло от могилы. В начале своего пребывания во Франции он работал на разных фабриках, но этот период продолжался недолго: он сошелся с какой-то состоятельной женщиной, проводил с ней время во всевозможных кабаре, затем уличил ее в неверности, стрелял в ее нового любовника, попал за это в тюрьму и, выйдя оттуда, стал вести уж совершенно беспорядочную жизнь, о которой было трудно составить себе сколько-нибудь связанное представление. То он работал садовником на юге Франции, то ехал в Эльзас, то оказывался в какой-то пиренейской деревне. Но большей частью он жил все-таки в Париже, в далеких его трущобах, от одной темной истории к другой, и когда он рассказывал об этом, в его повествовании всегда фигурировали освобождения за недостатком улик и выяснившиеся недоразумения. Впрочем, следить за его рассказом не было просто никакой возможности, нельзя было определить, где кончается его пьянство и где начинается его сумасшествие; во всяком случае, ни о какой хронологической последовательности того, что он говорил, не могло быть и речи.

– Ты понимаешь, как раз когда я приехал из Швейцарии, она мне говорит, что эта самая итальянская художница хотела уехать в Сицилию, но в это время приходит, можешь себе представить, полицейский инспектор по поводу того греческого журналиста и спрашивает меня, что я делал две недели тому назад в Люксембурге, а она говорит, что доктор, кото-

рый лечил англичанина, подвергся ночью нападению – голова вдребезги, понимаешь, тяжело раненный, решает прямо обратиться к моделистке, которая живет возле Porte d'Orléans.

Он говорил так, точно каждый его собеседник был подробно осведомлен обо всех, кого он упоминал. Вместе с тем я никогда не слыхал даже от него самого ни о художнике, ни о греческом журналисте, ни о докторе и не был уверен, что они вообще существовали в том временном и случайном их облике, в каком они возникали из его слов. В постепенной атрофии его умственных способностей или, скорее, в невероятном их смешении понятие о времени исчезало совершенно, он не знал, в каком году мы живем, и какая-то внешняя последовательность его собственного существования казалась чудесно неправдоподобной. Та к он бродил по Парижу, в многолетнем пьяном безумии, и было удивительно, что он как-то попадал домой и кого-то еще узнавал. Но в последние годы он сильно сдал, был болен чахоткой и не мог уже жить как раньше. Я как-то встретил его на улице, он попросил у меня денег, я дал ему то, что у меня было с собой, а через несколько дней получил от него письмо, в котором он писал, что лежит больной в своем номере гостиницы и что ему нечего есть. Я поехал туда.

Он жил на окраине города, недалеко от боен, и я никогда не видел более свирепой нищеты. Внизу, у стойки, небрежно споласкивал стаканы мутного стекла татуированный человек с ублюдочно-уголовным лицом, сказавший мне, что Мишель живет в номере тридцать четыре. По лестнице, узкой и крутой, спускались и поднимались какие-то подозрительные субъекты, и на каждом этаже был свой собственный, особенный оттенок тяжелой вони, которой было, казалось, пропитано все здание. Мишка лежал на кровати небритый, осунувшийся и худой. Рядом с изголовьем постели сидела женщина лет шестидесяти, густо и неумело накрашенная, в черном пальто и ночных туфлях. Когда я вошел, Мишка сказал ей по-русски:

– Теперь ты можешь уходить.

Она поднялась, произнесла невыразительным голосом «До свидания!», открыв рот, в котором не хватало многих зубов, и ушла. Я молча посмотрел ей вслед. Мишка спросил:

– Ты ее разве не помнишь?

– Нет.

– Это Зина.

– Какая Зина?

– Та самая, знаменитая.

Я никогда не слышал ни о какой знаменитой Зине.

– Чем знаменитая?

– Натурщица, красавица. Она была любовницей всех великих художников. Она была моей любовницей тоже, но сейчас, ты понимаешь, это дело прошлое, для меня женщины больше не существуют, мне дыхания не хватает. Это как раз незадолго до того, как я был в Версале, когда имел дело с этим албанским архитектором, у которого было недоразумение с моей швейцаркой...

– Подожди, подожди, – сказал я. – Расскажи мне лучше о Зине.

– Она теперь живет с таким стрелком, – сказал Мишка. Он был совершенно трезв – вероятно, в первый раз за очень долгое время. – Мелкая такая сволочь, у меня с ним было дело лет пять тому назад, он у меня деньги было украл, которые я получил тогда от этой англичанки, она как раз выходила замуж и...

– Украл или не украл?

– Он-то украл, да потом отдал, я его прикрутил. Такая мышастая сволочь, знаешь. Ну, она его, конечно, сифилисом заразила. Он-то вообще всегда был стрелок, он рассказывает историю с мотоциклетом, как его в Лионе арестовали. Я ему говорю: какой там Лион, когда я тебя по версальской тюрьме помню, – а хуже нет тюрьмы, клянусь честью, в тысячу раз

лучше Сантэ, боже тебя упаси попасть в версальскую, это я тебе товарищеский совет даю. А ему всю историю жизни написал Алексей Алексеевич Чернов – вот это, брат, талант. У меня даже одна его вещь есть, напечатана на машинке.

И он действительно достал с полки грязно-серую тетрадку, углы которой были сильно обтрепаны, и протянул ее мне. Это был рассказ Чернова «Перед грозой». Я прочел первые строки:

«Над величественным, как всегда, Петербургом спускались зимние сумерки. Петр Иванович Белоконников, богатый человек сорока лет, принадлежавший как по своему происхождению, так и по образованию, которое он получил в пажемском корпусе, к большому свету Северной Пальмиры, шел по тротуару, распахнув шубу. Он только что расстался с Бетти, которая была его любовницей, и из его головы не выходила мраморная белизна ее груди и жгучие ласки ее роскошного тела».

Я расспрашивал Мишку об этих людях, которых он хорошо знал. Несмотря на бессвязность его рассказа, я все-таки выяснил, что Алексей Алексеевич Чернов был тот болезненного вида оборванный старик, который просил милостыню у выхода из русской церкви и которого я видел много раз. Я узнал также, что у Зины была дочь, Лида, лет двадцати шести, которая была одно время замужем за каким-то французом; он скоропостижно умер; подозревали отравление, и у Лиды были неприятности. Я успел заметить, что на языке Мишки слово «неприятности» чаще всего значило «тюрьма». Теперь она где-то на улицах продавала цветы.

Я вернулся в гостиницу Мишки через несколько дней, но там его больше не было, и никто не мог мне сказать, куда он делся. Только много позже я узнал, что он умер от чахотки приблизительно через месяц после моего свидания с ним в одном из санаториев под Парижем. Примерно в эти же дни, проходя по бульвару Гарибальди, я заметил группу, которая шла по тротуару навстречу мне. Это были Зина, мышастый стрелок, тот самый, которого я видел у Павла Александровича в день моего визита к нему, и молодая женщина, очень бедно одетая, с нечесаными белокурыми волосами, – Лида, такая, какой мне ее описывал Мишка. Они все шли почти рядом. Лида чуть-чуть позади. Я видел, что посередине тротуара лежал большой окурок, к которому они приближались. Когда они подошли к этому месту совсем близко, мышастый человек явно хотел уже нагнуться, но в ту же секунду с необыкновенной ритмической точностью и быстротой Зина толкнула его плечом так, что он едва не упал. Затем небрежным и безошибочным движением она подобрала окурок и тем же шагом пошла дальше. Я невольно вспомнил джигитов, которые, сползая с седла, подхватывают платок, лежащий на земле, в то время как лошадь продолжает идти прежним карьером. Я видел, что Лида улыбнулась, и не мог не заметить, что в ее испитом и нездоровом, несмотря на молодость, лице была несомненная, но чем-то почти тревожная привлекательность.

А вечером того дня, когда я встретил эту группу и когда в моей памяти были свежи недавние события – визит к Щербакову, посещение Мишки, соображения, связанные с мышастым стрелком, Зиной и ее дочерью, – вечером этого дня меня отделяло от них огромное расстояние, и все это перестало занимать мое внимание. Днем я почувствовал непонятную усталость, вернулся домой и проспал три часа подряд. Затем я встал, умылся и пошел обедать в ресторан, а из ресторана опять домой. Было около девяти часов вечера. Я долго стоял у окна и смотрел вниз, на узкую улицу. Все было как всегда: цветные стекла публичного дома, находившегося напротив, были освещены, и над ними легко было прочесть надпись «Au panier fleuri»³, консьержки сидели на стульях, каждая перед своей дверью, и в вечерней тишине я слышал их голоса, переговаривающиеся о погоде и о дороговизне; на углу улицы и бульвара, возле витрины книжного магазина, то показывался, то скрывался силуэт

³ «У цветочной корзины» (фр.).

Мадо, вышедшей на свою работу и ходившей взад и вперед все на одном и том же пространстве – тридцать шагов туда, тридцать шагов обратно; где-то неподалеку играло механическое пианино. Я знал на этой улице всех, как я знал ее запахи, вид каждого дома, стекла каждого окна и то убогое подобие существования, характерное для каждого из ее обитателей, в котором я никак не мог понять главного: что, собственно, вдохновляло этих людей в жизни, которую они вели? Каковы могли быть их желания, надежды, стремления и во имя какой, собственно, цели каждый из них послушно и терпеливо делал все одно и то же каждый день? Что могло в этом быть – кроме темного биологического закона, которому они все повиновались, не зная его и никогда о нем не думая? Что вызвало их к жизни из апокалипсического небытия? Случайное и, может быть, минутное соединение двух человеческих тел однажды вечером или однажды ночью, несколько десятков лет тому назад? И я вспомнил, что говорил низенький сорокалетний мужчина в кепке, Поль, служивший шофером на грузовике и живший двумя домами ниже меня, за очередным стаканом красного вина:

– J'ai pas connu mes parents, c'est a s'demander s'il ont jamais existe. Tel, que vous m'voyez, j'ai été trouvé dans une poubelle, au 24 de la rue Caulaincourt. Je suis un vrai parisien, moi⁴.

И когда я один раз спросил Мадо, на что она рассчитывает в будущем и как может сложиться ее жизнь, она посмотрела на меня пустыми, сильно подведенными глазами и, дернув плечом, ответила, что она никогда не теряла времени на такого рода размышления. Потом она помолчала секунду и сказала, что будет работать до того дня, пока не умрет, – jusqu'au jour où je vais crever, parce que je suis poitrinaire⁵.

Я отошел от окна. Механическое пианино безжалостно продолжало играть одну арию за другой. Мне казалось, что я все глубже и глубже погружаюсь в неопределенный душевный туман. Я старался представить себе наиболее полно все, что я мог объять своим воображением, – то, каким мир был сейчас: темное небо над Парижем, огромные его пространства, тысячи и тысячи километров океана, рассвет над Мельбурном, поздний вечер в Москве, шипение морской пены у берегов Греции, горячий полдень в Бенгальском заливе, прозрачное движение воздуха над землей и время, неудержимо уходящее в прошлое. Сколько человек успело умереть с той минуты, что я подошел к окну, сколько их агонизирует сейчас, когда я думаю об этом, сколько тел корчится в смертельных судорогах, – тех, для кого уже наступил последний и неумолимый день их жизни? Я закрыл глаза, и передо мной возник «Страшный суд» Микеланджело, и одновременно с этим я почему-то вспомнил его последнее письмо, в котором он говорит, что не может больше писать. Я вспомнил эти строки и ощутил холод в спине: эта рука, которая не могла писать, высекала из мрамора Давида и Моисея – и вот гений его растворился в том же самом небытии, из которого он возник; и каждое его произведение – это была кажущаяся победа над смертью и над временем. Для того чтобы эти понятия – время и смерть – появились передо мной во всей их непоправимости, нужно было проделать долгий путь медленного углубления, нужно было победить звуковую неубедительность этой последовательности букв «р», «е», «м», и только тогда проявлялась эта бесконечная перспектива моего собственного умирания. Строки письма Микеланджело звучали в моих ушах, я отчетливо видел печатную страницу, дату: «Рим, 28 декабря 1563 года» и адрес: «Лионардо ли Буонарроти Симони, Флоренция». «Я получил в последнее время много писем от тебя и не ответил. Если я так поступил, то это оттого, что моя рука мне больше не повинуется». Через два месяца после этого, в феврале 1564 года, он умер. Вспомнил ли он еще о трагической грандиозности этой волны мускулов и тел, которые его неумолимое вдохновение так повелительно сталкивало в ад – бесчисленными и безошибоч-

⁴ Я не знаю своих родителей, более того, я сомневаюсь, существовали ли они вообще. Таким, каким вы меня видите, меня нашли в мусорном ящике на улице Коленкур, 24. Так что я настоящий парижанин (*фр.*).

⁵ До того дня, когда я сдохну, ведь у меня чахотка (*фр.*).

ными движениями единственной в мире руки, той самой, которая потом отказалась ему служить, — в дни, когда стала так очевидна иллюзорность его нечеловеческого могущества и земная напрасность его неповторимого гения? Я сидел в кресле и думал с холодным иступлением о том, что, в сущности, несостоятельно все, и в частности, любая отвлеченная мораль и даже недостижимое духовное величие христианства — потому что мы ограничены временем и потому что есть смерть. Я, конечно, давно знал эти мысли, всю мою жизнь, как их знали миллионы людей до меня, но лишь изредка они переходили из теоретического понимания в ощущение, и тогда всякий раз я испытывал особенный и ни с чем не сравнимый ужас. Все, в чем я жил, и все, что окружало меня, теряло всякий смысл и всякую убедительность. И тогда у меня появлялось неизменное и странное желание — исчезнуть и раствориться, как призрак во сне, как утреннее пятно тумана, как чье-то далекое воспоминание. Мне хотелось забыть все, что я знал, все, что составляло, собственно, меня, вне чего нельзя было, казалось, представить себе мое существование, эту совокупность абсурдных и случайных условностей, — так, точно мне хотелось бы доказать себе, что у меня не одна жизнь, а несколько, и, стало быть, тем, в чем я живу сейчас, вовсе не ограничены мои возможности. Я видел, в теоретической и умозрительной перспективе, целую последовательность постепенных моих превращений, и в этой множественности обликов, возникавших передо мной, была надежда на какое-то призрачное бессмертие. Я видел себя композитором, шахтером, офицером, рабочим, дипломатом, бродягой, в каждом превращении была своеобразная убедительность, и мне начинало казаться, что я действительно не знал, каким меня застанет завтрашний день и какое пространство будет отделять меня после этой ночи от сегодняшнего вечера. Где буду я и что будет со мной? Я прожил, как мне казалось, столько чужих жизней, я столько раз содрогался, испытывая чужие страдания, я столько раз чувствовал с необыкновенной отчетливостью то, что волновало других людей, нередко умерших и далеких от меня, что я давно потерял представление о своих собственных очертаниях. И в этот вечер, как всякий раз, когда я долго оставался один, я был окружен точно чувственным океаном неисчислимого множества воспоминаний, мыслей, переживаний и надежд, которым предшествовало и за которыми следовало смутное и непреодолимое ожидание. Под конец подобное состояние так утомляло меня, что все начинало путаться в моем воображении, и тогда я либо уходил в кафе, либо старался сосредоточить внимание на какой-нибудь одной и вполне определенной идее или системе идей, либо, наконец, вызывал в своей памяти какую-нибудь спасительную мелодию, за которой заставлял себя следить. Я лег в совершенном бессилии на кровать — и вдруг вспомнил «Неоконченную симфонию»; она звучала в вечернем безмолвии моей комнаты, и через несколько минут мне стало казаться, что я вновь в концертном зале: черный фрак дирижера, сложный воздушный танец его палочки, за движениями которой, в побежденной тишине, идут музыкальные переливы — струны, смычки, клавиши, — очередной и, в сущности, почти чудесный возврат далекого вдохновения, остановленного много лет тому назад тем же слепым и беспощадным законом, в силу которого рука Микеланджело стала неподвижной. Наступала ночь, на небе появились звезды, внизу спали консьержки, светилась вывеска «Au panier fleuri», и на углу двигалась, как маятник, Мадо, и все это проходило сквозь «Неоконченную симфонию», не омрачая и не нарушая ее, постепенно расплываясь и исчезая в этом движении звуков, в этой призрачной победе воспоминаний и воображения над действительностью и над очевидностью.

—
Я бывал у Павла Александровича почти каждую неделю и подолгу с ним разговаривал. Мне все хотелось выяснить — в частности, как он мог прийти до этого состояния, в котором находился, когда я его встретил, и как, дойдя до этого состояния, он сумел сохранить то, что так резко отличало его от товарищей по несчастью. Я знал, что человеку, ставшему нищим, обычно путь назад отрезан навсегда, не только в смысле возвращения к материальному бла-

гополучию, – многие нищие были сравнительно богаты, я неоднократно видал таких, – но главным образом в том, что называлось общественной иерархией: оттуда люди не поднимались. Я никогда, конечно, не ставил этого вопроса прямо, я даже не намекал на это. Но сопоставляя некоторые из почти всегда случайных высказываний Павла Александровича, я составил себе об этом представление, не лишенное правдоподобности. Что-то произошло в начале его жизни за границей, я никогда не мог узнать, что именно, какая-то катастрофа, связанная, как мне казалось, с женщиной. После этого он начал пить и спился совершенно. Та к продолжалось много лет, и, вероятно, ничего не могло бы его спасти, если бы он не захворал. Он свалился однажды ночью на улице и пролежал так несколько часов, пока его не подобрали и не отвезли в госпиталь. Там его подвергли всестороннему осмотру, сделали все анализы, которые были необходимы, лечили несколько месяцев, и когда он наконец почувствовал себя значительно лучше, врач ему сказал, что он может существовать только при одном условии – полном воздержании от алкоголя. Павел Александрович тотчас же убедился в том, что доктор говорил правду: выпитый стакан вина немедленно вызывал у него рвоты и мучительное заболевание. От отказался от всяких напитков и через некоторое время стал почти нормальным человеком. Его встрече со мной в Люксембургском саду предшествовало полтора года его жизни, в течение которых он не пил. Он давно уже понимал тягостный позор своего положения; но он был немолод, физически слаб, в его прошлом было много лет того существования, какое и теперь вели его товарищи, и он полагал, что если в ближайшем будущем ничего не изменится, то ему остается только один выход – самоубийство.

Таково было внешнее объяснение того, что с ним произошло. Но было, как мне казалось, и другое – постоянное и пассивное сопротивление той несомненной культуры, которая была для него характерна, этому глубокому падению, какой-то внутренней, быть может, почти бессознательный, почти органический стоицизм, который он сам так упорно отрицал.

Я не мог, конечно, не заметить, что в его квартире живет женщина, хотя я ее ни разу не видел, и Павел Александрович никогда не обмолвился об этом ни одним словом. Но я неоднократно замечал следы ее присутствия: в пепельнице лежали окурки, на которых отпечатались накарминенные губы, едва ощутимый запах духов иногда оставался в комнате. В конце концов, что могло быть более естественно? И вот однажды, когда я пришел, как всегда, к восьми часам вечера, на столе было не два, а три прибора.

– Мы сегодня будем обедать вдвоем, – сказал Павел Александрович, – если вы ничего не имеете против этого.

– Наоборот, наоборот, – поспешно сказал я.

В эту же секунду я услышал шаги, повернул голову – и вздрогнул от удивления и необъяснимо тягостного чувства, мгновенно меня охватившего: я увидел молодую женщину, в которой тотчас же узнал дочь Зины, хотя с того дня, что я встретил ее на улице вместе с ее матерью и мышастым стрелком, она изменилась совершенно. Она была хорошо одета, на ней было синее шелковое платье, довольно широкое, в крупных складках, белокурые волосы были завиты, губы накарминены, глаза немного подведены. Но в ее лице оставалось то же самое, что я заметил, когда увидел ее впервые, и что было чрезвычайно трудно определить, – нечто притягательное и неприятное одновременно.

Она подала мне руку и извинилась, сказав, что ей не всегда легко говорить по-русски. Она картавила и во время разговора действительно все сбивалась на французский язык, и тут она была беззащитна. Она говорила приблизительно так, как говорят на улицах бедных парижских окраин, и я опять вздрогнул, услышав эти знакомые интонации, эту движущуюся звуковую массу, убогую и вместе с тем чем-то неподдельно трагическую. Впрочем, она больше молчала, изредка поднимая то на Щербакова, то на меня свой взгляд, несколько раздражавший меня выражением какой-то вздорной, как мне казалось, значительности. Ей было двадцать шесть лет, на вид ей можно было дать, однако, больше, потому что кожа ее

лица успела потерять упругую свежесть ранней молодости и оттого, что в ее голосе слышалась легкая хрипота, когда она его понижала. Но и в этом была своеобразная привлекательность...

В тот вечер я не знал о ней почти ничего. Я мог бы узнать все, но Мишки уже не было в живых. У меня, впрочем, оставались другие источники осведомления, которыми я воспользовался несколько позже: я пригласил в кафе одного из русских бродяг, которого знал по виду, и на третьем стакане вина он рассказал мне многое о ее жизни. Но это произошло через пять или шесть дней после нашего обеда втроем.

Павел Александрович, как всегда, не прикоснулся к вину, я выпил несколько глотков. Зато Лида выпила четыре стакана. После ужина Павел Александрович спросил меня, люблю ли я цыганские романсы. Я ответил утвердительно.

– Тогда я приглашаю вас на небольшой любительский концерт, – сказал он.

Мы пошли на другую половину квартиры, где мне до сих пор не приходилось бывать. На полу лежал бобрик, стены были оклеены синими обоями. В гостиной стояло пианино. Павел Александрович сел перед ним, несколько раз дотронулся до клавиш и сказал:

– Ну, Лида...

Она начала петь вполголоса, но сразу же было видно, что она, конечно, музыкальна, что она не способна сфальшивить или ошибиться в ритме. Через минуту она, казалось, забыла о нас и пела так, точно была одна в комнате, – одна или перед многочисленной аудиторией. Я знал почти весь ее репертуар, довольно обширный, в который входили французские песенки, цыганские романсы и множество других вещей самого разного и случайного происхождения. Но до этого вечера я не представлял себе, что это может звучать именно так. В свое исполнение, которому никак нельзя было отказать ни в некотором искусстве, ни в музыкальной убедительности, она вносила никогда не изменяющую ей, никогда не прерывающуюся тяжелую чувственность, которой эти вещи были чаще всего лишены. В звуках ее голоса, то протяжных, то коротких, то глубоких, в самых разных его оттенках повторялось все одно и то же, с такой неотступной настойчивостью, что под конец это перерастало и пианино, и пение, и последовательность рифмованных слов и становилось просто тягостным. В этом было необъяснимое звуковое бесстыдство, и, когда я закрывал глаза, передо мной сразу возникала белая пропасть воображаемой кровати и в ней голое тело Лиды и смутный и неверный силуэт мужчины, склоненный над ней. Но самым неприятным в этом было нечто похожее на личное напоминание – на то, что каждый ее слушатель тоже не был и не мог быть совершенно чужд этому чувственному миру, в котором было нечем дышать. И уже тогда я понял, слушая ее пение, что было бы достаточно, быть может, одной случайности, и меня неудержимо потянуло бы к ней, и против этой притягательности могли бы оказаться бесильны и мое невольное к ней презрение, и упорная моя душевная болезнь, влекущая меня в то холодное и отвлеченное пространство, от которого я не мог уйти. Я думал обо всем этом, и мне вдруг стало бесконечно жаль Павла Александровича; надо было полагать, что в том мире, которого она была живым и непреодолимым напоминанием, ему была суждена печальная роль ее бледного спутника, как в этом звуковом соединении рояля и голоса он мог быть только аккомпаниатором. Я внимательно смотрел на Лиду – на ее красный рот, на ее глаза, принимавшие время от времени какое-то сонно-влажное выражение, на ритмическое покачивание ее узкого тела, которым она сопровождала свое пение.

*Проглянет солнца луч сквозь запертые ставни,
И снова, как вчера, кружится голова,
Мне слышится твой смех, наш разговор недавний,
Как струнный перебор, звучат твои слова.*

И вдруг я вспомнил Зину, ее мать, старое, неумело накрашенное ее лицо, беззубый рот, и потухшие глаза, и ревматические ноги в ночных туфлях. Затем я перевел взгляд на Лиду, черты ее лица на секунду расплылись и удалились, и тогда со внезапным холодком в спине я увидел мгновенно исчезнувшее сходство Лиды с ее матерью. До этого, однако, было пока что далеко, и надо было думать, что в течение нескольких долгих лет еще много раз узкое тело Лиды будет двигаться в этом колеблющемся ритме и чьи-то другие глаза будут смотреть на нее с таким же жадным вниманием, с каким я смотрел на нее теперь. Когда она кончила петь, у меня было впечатление, что я пьян; почти тотчас же после этого я ушел, сославшись на необходимость готовиться к экзамену, и только на улице я почувствовал себя свободным.

Несколькими днями позже я разыскал одного из моих старых знакомых, пожилого русского стрелка, которого я издали узнал, потому что его нельзя было спутать ни с кем: волосы на его лице росли отдельными разрозненными пучками. Мне пришлось два или три раза видеть его бритым, и тогда он становился похожим на других людей. Но в обычное время, когда он был нормально небрит, в этой странной растительности его лица было нечто почти ботаническое, что-то похожее на пятна серого мха, пробивающегося кое-где сквозь камень. Я пригласил его в небольшое кафе, заказал ему красного вина и сэндвичи, – он очень мало ел, как все алкоголики, – и спросил его, знает ли он Зину, ее мужа и дочь. Сначала он отвечал уклончиво, но вино на него быстро подействовало, и он рассказал мне все, что ему было известно об этом, как он выразился, семействе. Мне, однако, стоило большого труда заставить его говорить именно о том, что меня интересовало, потому что он все сбивался на бесконечное повествование о какой-то княгине, бывшей его любовнице, которую он, по его словам, никак не мог забыть и которая сделала такую прекрасную карьеру в Париже, что, впрочем, было понятно, так как она была вообще женщиной исключительной. Я все не мог взять в толк, что это была за карьера, тем более что, как сказал мой собеседник, нужны были долгие годы терпения и осторожности, прежде чем княгиня достигла своей цели. Под конец это все-таки выяснилось: княгиня, оказывается, служила горничной у богатой старухи, которая плохо видела и плохо слышала и которую она систематически обкрадывала. И когда старуха умерла, оставив свое состояние каким-то дальним родственникам, у княгини оказались очень порядочные деньги. Именно тогда она пренебрегла, как он сказал, его любовью и всецело ушла в свою личную жизнь. Он явно искал моего сочувствия, я покачал головой и заметил неопределенно, что бывает всякое и что лучшая участь не всегда есть удел наиболее достойных людей. Он пожал мне руку с пьяным и искренним чувством и перешел наконец к Зине и Лиде. Их историю он рассказывал мне с такими подробностями, которых, казалось бы, никто не мог знать, но он говорил о них так, точно они всем были известны. Прежде всего, по его словам, Зина сама не знала, кто именно был отцом Лиды, потому что вела в эти времена крайне рассеянное существование. До двенадцати лет Лида жила в деревне и только потом приехала к матери. Когда ей было четырнадцать лет, она стала любовницей мышастого стрелка; Зина это узнала, был страшный скандал, она набросилась на своего сожителя и ранила его ножницами – в припадке женской ревности, сказал стрелок. Потом, однако, все «вошло в колею», особенно после того как Лида сбежала из дому и пропала на четыре года. Как именно она их провела, не знал никто, даже мой собеседник. Один из его друзей, Петя Тарасов, правда, говорил ему, что видел, как Лида в Тунисе что-то продавала на набережных; но Пете Тарасову нельзя было верить до конца, так как он пил мертвую, и о нем вообще стрелок отзывался неодобрительно, утверждая, что он человек неверный. Впоследствии, однако, оказалось, что Лида действительно была в Тунисе. Затем она вернулась домой, и по ее виду можно было подумать, что она долго болела.

– Они все жили тогда на улице Simon le Franc? – спросил я.

Нет, они, оказывается, никогда там не жили: у них была постоянная квартира на rue de l'Eglise St. Martin.

– Квартира? – сказал я с удивлением.

Я помнил эту улицу, мне казалось, что там вообще не могло быть квартир, там стояли деревянные бараки, где жили польские чернорабочие, арабы и китайцы, а на углу был «Bar Polski», один из самых мрачных притонов, какие я видел в своей жизни. Правда, по описанию моего собеседника, в квартире Зины, состоявшей все-таки из двух комнат, не было ни воды, ни газа, ни даже электричества. Мне было неловко спросить, откуда Зина брала деньги на бедное свое существование, я знал, что в этой среде подобные вопросы неуместны. Но стрелок мне объяснил, что Зина и Лида хорошо зарабатывали, потому что ходили по дворам и пели, а мышастый стрелок им аккомпанировал на гармонике. Это продолжалось до тех пор, пока Зина не охрипла навсегда по неизвестной причине. Деньги, однако, у них не держались, так как Зина пила, а ее сожитель играл на скачках и то, что Зина не успевала пропить, он проигрывал. На Лиду нельзя было рассчитывать, она жила дома только временами, а не так давно вышла даже замуж за молодого француза, от которого отrekliсь родители и который вскоре умер, впрыснув себе слишком большую дозу морфия, после чего Лида была арестована, но выпущена через несколько дней. Затем мой собеседник сообщил мне, что теперь Лида живет с Пашкой Щербаковым, про которого он тоже рассказал мне довольно обстоятельно, и, в общем, то, что он говорил, соответствовало действительности. Я не мог не подивиться необыкновенной осведомленности этого человека. Он знал также биографию мышастого стрелка и злополучную историю с мотоциклетом, сочиненную Черновым, произведение которого ему тоже были хорошо известны. О мышастом стрелке он сказал, что тот в России был когда-то бухгалтером не то в Астрахани, не то в Архангельске, с начала войны служил по интендантству и приехал за границу с кое-какими деньгами, но быстро разорился, проиграв большую часть их в Монте-Карло, а то, что осталось, на скачках. И даже с Зиной он познакомился на скаковом поле Auteuil, в тот исторический день, когда он поставил чуть ли не все, что у него было, на знаменитого и несравненного Фараона Третьего, лучшую лошадь, когда-либо скакавшую во Франции. Жокей, однако, был подкуплен завистливым конкурентом и, ведя Фараона в хлысте, проиграл на финише, так что к этому нельзя было придаться.

Когда мой собеседник рассказывал мне об этом, он явно волновался. Он обнаружил, кроме того, такое знание скаковой терминологии, что его компетентность в этой области не могла вызвать никаких сомнений, – и я подумал, что, в сущности говоря, количество причин, которые доводят людей до rue Simon le Franc, довольно незначительно и причины эти почти всегда одни и те же.

– Я потерял состояние, но я приобрел Зину, – произнес будто бы мышастый стрелок после этого дня.

– Это тоже, наверное, Чернов придумал, – сказал я, не удержавшись.

На этом мы расстались, и мой собеседник ушел, выразив надежду, что все рассказанное останется между нами. Это была, казалось бы, ненужная и автоматическая фраза, не имевшая никакого смысла, хотя бы потому, что, как он сказал мне в начале разговора, события, о которых шла речь, «были известны всем». Правда, я не принадлежал к числу этих «всех», и в моем интересе к этому миру было нечто незаконное и, быть может, даже неопределенно-враждебное. Так, во всяком случае, могло ему казаться. Это было в какой-то мере понятно, и если бы я был на его месте, я тоже, вероятно, подумал бы о бесцеремонности и неуместности того, что молодой человек, прилично одетый, вдруг вторгается почему-то в ту область, которая отделена от него безвозвратной последовательностью падений – скачки, алкоголь, морфия, тюрьма, сифилис, милостыня, – бессильный разврат и грязь, болезни и физическая слабость, ежедневная перспектива смерти на улице и совершенное, не допускающее ни малейшего намека ни на какую иллюзию, отсутствие надежды какого бы то ни было улучшения. Я думаю, что он хотел сказать именно это, когда произнес фразу о том, что наш разговор останется между нами. Но он, конечно, не мог знать, что, несмотря на внеш-

нюю разницу между нами, мое положение было, быть может, не менее печальным, хотя и по-другому, чем то, в котором он находился.

Но никто вообще, ни один человек на свете, кроме Катрин, не знал о том, что я был болен этим своеобразным душевным недугом, сознание которого так неизменно угнетало меня. Особенно мучительным было понимание неравенства и превосходства других людей надо мной. Я знал, что в любую минуту я могу потерять ощущение действительности и погрузиться в тягостный бред, становясь на это время совершенно беззащитным. К счастью, я обычно чувствовал приближение такого припадка, но иногда он обрушивался на меня внезапно, и я с тревогой думал о том, что могло бы случиться, если бы это произошло в университетской аудитории, в библиотеке, на улице или во время экзамена. Я делал все, чтобы избавиться от этого, я усиленно занимался спортом, каждое утро принимал холодный душ и мог сказать, что физически я был идеально здоров. Но это ничему не помогало. Может быть, думал я, если бы я пережил землетрясение или крушение корабля в открытом море или вообще какую-то трудновообразимую, почти космическую катастрофу, может быть, это было бы спасительным толчком и позволило бы мне сделать первый, самый трудный шаг на том обратном пути к действительности, которого я так тщетно искал до сих пор. Но ничего подобного не происходило и, казалось, не могло произойти, по крайней мере, в ближайшем будущем.

Я продолжал бывать у Павла Александровича, и если бы не постоянно угадывавшееся присутствие Лиды, хотя ее я видел сравнительно редко, я мог бы сказать, что только там я находил настоящий душевный отдых. В спокойной уютиности той жизни, которую теперь вел Павел Александрович, было нечто усыпляюще-приятное, и это чувствовалось во всем, начиная от теплых интонаций его голоса и кончая удивительной мягкостью его кресел. Мне казалось, что даже в его обедах было то же самое: я нигде не ел до сих пор такого бархатного супа, таких котлет, такого шоколадного крема. Я относился к нему с самым искренним расположением и испытывал тягостное чувство, когда думал о том, что с ним может случиться что-нибудь нехорошее. Вероятно, эта мысль не преследовала бы меня, если бы я мог забыть о Лиде. Я, конечно, не позволял себе задавать Павлу Александровичу какие бы то ни было вопросы, касавшиеся этой стороны его жизни; он, в свою очередь, тоже никогда не говорил об этом. Но однажды, во время одного из моих очередных визитов, он сказал мне – это происходило в пятницу вечером, – что завтра, в субботу, он уезжает из Парижа. Он хотел снять на лето дачу возле Фонтенбло и собирался поехать туда, чтобы не спеша осмотреть окрестности, побродить по лесу и окончательно решить, стоит ли там поселиться в летние месяцы.

– Я много лет не был в лесу, – сказал он. – Но я не забыл о чувстве, которое я всякий раз там испытывал, – чувстве временности всего существующего. Посмотришь на дерево, которому несколько сот лет, и вдруг особенно ясно ощутишь свою собственную кратковременность. А Лида остается одна в Париже. Пригласили бы ее в кинематограф, а?

– Да, да, конечно, с удовольствием, – сказал я. И в ту же минуту подумал, что непременно сошлюсь потом на недостаток времени и сделаю все, чтобы от этого уклониться.

Но на следующий день, к вечеру, мне стало казаться, что нарушить обещание, данное Павлу Александровичу, было бы с моей стороны просто некорректно. Я смутно отдавал себе отчет, что это было оправдание столь же искусственное, сколь несостоятельное. Но я не задержался на этой мысли и позвонил Лиде по телефону. Она ответила, что ждет меня, и я поехал к ней после обеда. Она была готова, и мы отправились в кинематограф.

Я хорошо запомнил фильм, который мы видели, фамилию артиста, игравшего главную роль, и его многочисленные приключения. Это было тем более удивительно, что через несколько минут после начала сеанса я случайно коснулся горячей руки Лиды, и все помутилось в моих глазах. Я понимал, что происходит нечто непоправимое, но не мог остановиться. Я обнял правой рукой ее плечи, которые мягким и гибким движением приблизились ко мне,

и с этого момента я совершенно перестал владеть собой. Когда мы вышли из кинематографа и свернули в первую улицу, – я не мог говорить от волнения, она тоже не произносила ни слова, – я прижал к себе ее талию, ее губы приблизились к моему рту, я почувствовал прикосновение ее тела под легким платьем и ощутил нечто вроде влажного ожога. Прямо над моей головой горела вывеска гостиницы. Мы вошли туда и поднялись по лестнице вслед за горничной, которая была почему-то в черных чулках. «Номер девять», – сказал внизу мужской голос.

Над кроватью было вделано в стену большое прямоугольное зеркало, против кровати стояли зеркальные ширмы, несколько в глубине – зеркальный шкаф, и через несколько минут во всех этих сверкающих поверхностях отразились наши тела. В этой фантастической множественности отражений было что-то апокалипсически-кошунственное, и я подумал об Откровении святого Иоанна.

– On dirait de la partouze⁶, – сказала Лида.

У нее было сухое и горячее тело, и все то же ощущение ожога не покидало меня. Мне казалось, что я никогда не забуду этих часов. Я начинал терять себя в этом неожиданном богатстве физических ощущений, и в неизменной притягательности ее тела было нечто почти беспощадное. Слова, которые она произносила сквозь жадно стиснутые зубы, казались до удивительности странными – так, точно в этом горячем воздухе им не было места, – они звучали бесполезным напоминанием о том, чего больше не существовало. Теперь я находился в ином мире, которого я, конечно, не знал до сих пор во всей его женской неотразимости. Вот о чем она пела в тот вечер, когда я ее слушал! Как бледно теперь, едва слышным музыкальным лепетом, звучал в моей памяти аккомпанемент пианино! Обрывки мыслей проносились в моей голове. Нет, я никогда не представлял себе, что могу быть всецело захвачен физической страстью, такой сплошной, что она почти не оставляла места ни для чего другого. Я пристально смотрел вниз, на лицо Лиды, иступленное и одухотворенное, на полукротытые, широкие ее губы, чем-то напоминавшие мне изуверские линии рта какой-то богини, которую я видел однажды – но я забыл, где и когда. В зеркалах по-прежнему двигались многочисленные руки, плечи, бедра и ноги, и я начинал задыхаться от этого впечатления множественности.

– Мой дорогой, – сказала Лида невыразительным голосом, и мне казалось, что этим звукам трудно было пробиться через густую чувственную муть, – я никогда не любила так, как тебя.

Она лежала теперь рядом со мной, усталая и точно изматая длительным напряжением. Но постепенно ее голос становился глубже и звучнее.

– Je n'ai pas eu de chance dans ma vie⁷, – продолжала она, – потеряла невинность, когда мне было четырнадцать лет.

Она переходила все время с французского на русский и с русского на французский.

– Ты не знаешь любовника моей матери? Он уже тогда был старик, он мягкий, как тряпка, он не мужчина. Мне было больно и скучно, мне хотелось плакать от того, что все так отвратительно. Est-ce que tu me comprends? Dis-moi que tu me comprends⁸.

Я кивнул головой. Она лежала голая – рядом со мной, надо мной и подо мной, отражаясь в неподвижном блеске зеркал. И мне опять стало казаться, как это иногда случалось, что из страшной, стеклянной глубины на меня смотрят пристальные и остановившиеся глаза, в которых я с холодным отчаянием узнаю свой собственный взгляд.

⁶ Можно подумать, что это групповая любовь (фр.).

⁷ Мне в жизни не везло (фр.).

⁸ Ты меня понимаешь? Скажи, что ты меня понимаешь (фр.).

Мне нужны были необыкновенные усилия, чтобы победить охватившее меня отвращение к Лиде и к себе самому. Ее, впрочем, я был склонен обвинять меньше, чем себя. В моем поведении был элемент такой явной подлости, которой я до сих пор за собой не знал. После этого кто мог сказать, на что я был еще способен и какая другая низость остановила бы меня? Все, что во мне было – как я думал – отдаленно положительного, оказалось сметено одной случайностью, и, стало быть, какова же была ему цена? Другие, более непосредственные соображения занимали меня. Я думал, что если бы речь шла только обо мне, никто – и в первую очередь Павел Александрович – не узнал бы об этом вечере с Лидой. Но в ней я не мог быть уверен. Она была способна рассказать это следующему своему любовнику, она могла, в конце концов, признаться Павлу Александровичу, и это поставило бы меня в безвыходное положение. Как я мог сделать это несуществующим и сколько бы я дал, чтобы вернуть то, что было в начале вечера? Я лежал рядом с ней и думал об этом. Чтобы не видеть ее, я закрыл глаза, и передо мной появилась привычная мягкая мгла, та самая, из которой я столько раз уходил и в которую столько раз возвращался, переходя из одного мира в другой и вновь находя себя в этой беззвучной пропасти, после каждой душевной катастрофы. Я погрузился в знакомое безмолвие, пустое и мертвое настолько, что там глохли отзвуки даже едва минувшего несчастья, потому что там больше ничто не имело значения. Еще какой-то свет, слабея, мерцал передо мной, где-то далеко умирали последние смутные звуки, доходившие до меня. И рядом со мной, в этом безмолвном пространстве, лежало голое тело Лиды, неподвижное, как труп.

– Monsieur, la seance est terminee⁹, – сказал издали чей-то женский голос.

Потом он приблизился и повторил:

– La seance est terminee, monsieur.

Я открыл глаза. Я сидел в опустевшем зале кинематографа, полотно потухшего экрана было уже закрыто занавесом. Служащая, сказавшая мне эти слова, смотрела на меня с удивлением и сочувствием.

– Excusez-moi, – сказал я. – Merci de m’avoir reveille, m-lle¹⁰.

Я вышел из кинематографа. На небе были звезды, ночь была теплая и тихая. Стояли настоящие каменные дома, с железными запертыми ставнями, видны были неподвижные повороты улиц, окна кафе были ярко освещены. И кажется, в первый раз за все время мое возвращение к действительности было не только лишено того печального оцепенения, которым обычно сопровождалось, но в нем было нечто почти мажорное. Я думал, что усилия воли когда-нибудь восторжествуют над моим недугом и все, что так неотступно преследует меня теперь, исчезнет не на время, а навсегда. И тогда начнется, конечно, настоящая жизнь. Позже, всякий раз, когда ко мне возвращались видения, связанные с воображаемой встречей, Лидой, гостиницей и зеркалами, я тотчас же начинал думать о другом, хотя я знал и не мог себя обманывать: то, что мне казалось отвратительным, в сущности, произошло, и если это не было облечено в осязаемую форму свершившегося факта, то это была случайная и лишённая значения подробность. Но именно отсутствие факта было моим неопровержимым доводом, моим бесспорным оправданием – и в тот вечер эта обманчивая очевидность казалась мне счастливым разрешением вопроса.

—

Через некоторое время после этого я опять обратился к моему осведомителю, которого найти было нетрудно: если это происходило днем, нужно было идти в кафе возле place Maubert, где бывали обычно собиратели окурков; ночью надо было отправляться на Монпарнас. У этого человека в его бесконечных странствиях через Париж были места, куда он

⁹ Месье, сеанс окончен (фр.).

¹⁰ Извините... Спасибо, что разбудили меня, мадемуазель (фр.).

неизменно приходил, как другие люди приходят в клуб. После второго стакана вина он готов был рассказать все что угодно – то, что он действительно знал, то, что он слышал, и даже то, чего он не знал, но что составляло предмет его размышлений. Правда, о чем бы ни шла речь, начинал он всегда с одного и того же – со своей княгини, которой он все не мог простить измены.

– Вот мы с вами тут беседуем, – сказал он, вытирая губы, не без некоторой очень своеобразной кокетливости, мизинцем правой руки, – а она, стерва, нежится под атласным одеялом в своей квартире. Она не знает, что она у меня в руках.

– Почему она у вас в руках?

– Милый человек, да пойдя я куда нужно, да скажи кому следует: месэ, ву саве арижин са ришес?¹¹

Он очень бегло говорил по-французски, произнося, однако, твердо все носовые звуки и ставя всюду русское «а» вместо французского «о».

И он пристально смотрел на меня своими выцветшими и пьяными глазами.

– Но только она подозревает, конечно, что Костя Воронов всегда был *джентелемен*, – и это слово он выговаривал совсем по-своему, – и что он не способен это сделать. Вы знаете, как мое прозвище?

Я ответил, что не имею об этом представления.

– Вот это прозвище мне и дали, – сказал он, – джентелемен. Вот он, перед вами стоит, – Костя Воронов, джентелемен, поручик императорской армии. В приказе было написано: «отличился – как сейчас эти слова помню – неустрашимым мужеством, подавая пример офицерскому составу и подчиненным...». Вот какому человеку она изменила. И почему? Потому что Костя Воронов не захотел себя скомпрометировать, милый человек, вот почему.

Я плохо представлял, что он, собственно, хотел этим сказать и чем он мог себя скомпрометировать с княгиней, но не настаивал, боясь слишком длительных объяснений. Он смотрел на меня и явно искал сочувствия, как это бывало всякий раз, когда разговор касался его личной жизни. Я опять сказал несколько слов о превратностях судьбы.

– Судьба, это, знаете, одна видимость, – сказал он. – То есть, понимаете, вот какой-нибудь человек живет и думает, что все замечательно, а на самом деле дурак дураком.

Я спросил Джентльмена, следует ли рассматривать это утверждение как чисто философскую мысль или в нем содержится какой-нибудь намек.

– И то и другое, – сказал он. – С одной стороны, это вообще правильно, а с другой – вот возьмите Пашку Щербакова, например. Я ничего не говорю, я его, слава богу, давно знаю. Он человек неплохой, интеллигентный, нашего круга.

Я быстро взглянул на него. Он стоял передо мной, в засаленном и обтрепанном пиджаке, в удивительно узких и дырявых штанах, небритый и мрачный; желтый окурок, прилипший к его губе, слегка дымился.

– Вот он живет теперь как барин – харч, конечно, квартира и девочка, как полагается.

Он покачал головой и выпил остаток вина. Я подозвал гарсона и заказал ему следующий стакан.

– Люблю, когда человек понимает, – сказал Джентльмен, – русские же мы люди, в конце концов. Да, так вот Пашка. А девочка-то его едва-едва переносит, потому что любит Амара.

– Какого Амара?

– Который ее любовник. А вы не знали?

– Нет.

– А вы ее как-нибудь о нем спросите. Она с ним еще в Тунисе спуталась.

– Он что, араб?

¹¹ Месье, вы понимаете происхождение этого богатства? (фр. искаж.)

– Хуже, – сказал Джентльмен. – Значительно хуже. Отец его араб, мать полька. Он в Тунисе попался в каком-то грязном деле, сел, конечно, в тюрьму. «У него были неприятности», – сказал бы Мишка. Она его оттуда и выписала.

– Кто?

– Лида, конечно. А вы что, удивляетесь?

– Да нет, это понятно.

– Только все это между нами.

– Можете быть спокойны.

Во всем, что рассказал мне Джентльмен, не было, конечно, ничего неожиданного; наоборот, казалось бы скорее удивительным, если бы это было иначе. Но я не мог отделаться от неприятного чувства за Павла Александровича. Как случилось, однако, что он так мало, по-видимому, знал о Лиде? Как могло быть, что, имея вполне определенное представление о мышастом стрелке и о Зине, он пропустил в этом самое главное – биографию Лиды? Я знал со слов Джентльмена, что Павел Александрович только слышал о ее существовании, но увидел ее впервые совсем недавно, на улице, и его тронуло то, что она была так явно бедна и несчастна, – и с этого все началось. Она, вероятно, рассказала ему о себе, и только то, что нашла нужным рассказать, скрыв от него все остальное. Он, кроме того, был на тридцать лет старше ее, и против этой разницы в возрасте оказались бессильны и его постоянное недоверие к людям, и его личный душевный опыт. Но все-таки – не мог же он в такой степени обманываться на ее счет? Я всегда предполагал, что дочь Зины не должна быть мечтательной девушкой с далекими глазами, а после того как я ее увидел и услышал ее пение, у меня не оставалось больше никаких сомнений в ее нравственном облике. И то, что таких очевидных вещей не знал – или делал вид, что не знал, – Павел Александрович, оставалось только объяснить его невольным и катастрофическим ослеплением.

Прошло несколько недель. И вот, так же случайно, как в тот раз, когда я встретил на бульваре Гарибальди Зину, мышастого стрелка и Лиду, я оказался однажды вечером на площади Бастилии. Я очень давно не бывал в этом районе. Я поехал туда потому, что в одном из больших кафе этого квартала должен был выступить с речью знаменитый испанский революционер, высказывания которого давно привлекали мое внимание отсутствием в них наивной глупости, столь неизменной в обычных речах политических ораторов. Он читал лекцию о социализме и пролетариате; он был талантливый человек, и в его изложении эти вещи приобретали какое-то человеческое содержание, и, слушая его, я невольно думал о том, в какой степени подлинный смысл этих проблем был искажен и изуродован десятками невежественных и неумных политических чиновников, которые почему-то считались представителями рабочего класса и стояли во главе синдикатов, партий или правительств. Лекция кончилась немного позже одиннадцати часов вечера. Когда я проходил по площади мимо знаменитой своими повсеместно рекламируемыми притонами rue de Larpe, на углу остановилось красное такси и из него вышла Лида, а вслед за ней человек среднего роста с темным худым лицом, в сером костюме и серой шляпе, надвинутой почти до ушей. Он отдаленно напомнил мне хозяина Мишкиной гостиницы, но не потому, что был на него похож, а оттого, что в его лице – насколько я успел его рассмотреть за несколько секунд – было тоже нечто ублюдочное и преступное. То, что еще подчеркивало такое впечатление, это его выражение тяжелой глупости; было видно, что этот человек не привык и не умел думать. Тонкое лицо Лиды рядом с ним казалось почти отвлеченным. Мои глаза встретили ее взгляд, я сделал вид, что не вижу и не узнаю ее; она тоже как будто меня не узнала. Я быстро прошел мимо них, но потом остановился и посмотрел, куда они направились – к освещенному входу в дансинг. Я заметил с некоторым удивлением, что Амар – я не сомневался, что это был он, – шел не очень быстро и слегка волочил левую ногу.

Это происходило в среду. В субботу вечером я должен был обедать у Павла Александровича. В четверг, когда мы с ним услаивались об этом по телефону и он спрашивал меня, как идут мои дела, я ответил, что почти не выхожу из дому, так как у меня спешная работа. Это точно соответствовало действительности: я писал длинную статью о Тридцатилетней войне, заказ на которую получил один из моих товарищей, передавший его мне. Статья эта должна была быть подписана фамилией одного очень известного публициста и писателя, человека со средствами, заработавшего крупные деньги книгами о диктаторах и министрах разных государств. Я не был уверен, что он сам мог бы написать такую статью, хотя я его лично не знал и мог бы сослаться только на категорическое утверждение моего товарища, сказавшего мне, что знаменитый автор «не был обременен знаниями в какой-либо области, за исключением скакового спорта». Но дело было даже не в этом, а в том, что у знаменитого журналиста был бурный роман с не менее знаменитой кинематографической артисткой. Он ездил с ней по всем модным ночным кабаре, возил ее на Ривьеру и в Италию – одним словом, у него совершенно не было времени думать о каких бы то ни было статьях. Впрочем, это случалось не впервые в его жизни. Но так или иначе, возможность этого заработка была для меня слишком соблазнительна, чтобы ее пропустить. Несколько дней я провел в Национальной библиотеке, делая длинные выписки из разных книг, потом принялся за работу дома. До заключительных страниц, однако, мне еще было далеко, и я думал о Вестфальском мире с не меньшим нетерпением, чем Ришелье, но с той разницей, что мне были известны его последствия, которых французский кардинал, как, впрочем, любой его современник, предвидеть не мог и в свете которых вся политика Франции начала семнадцатого столетия приобретала совершенно другое значение, чем то, какое ей придавал и сам кардинал, и Pere Joseph, страшный своим личным бескорыстием, по крайней мере, внешним. Но чем больше я думал об этом старом босом капуцине, тем больше мне казалось несомненным, что только безмерное и скрытое честолюбие предопределило и его политику, и его жизнь. И мне представлялось чрезвычайно убедительным утверждение одного из историков этого периода, который писал, что самые опасные люди в политике – это те, кто презирает непосредственные выгоды своего положения, кто не стремится ни к личному обогащению, ни к удовлетворению классических страстей и чья индивидуальность находит свое выражение в защите той или иной идеи, той или иной исторической концепции. К сожалению, я лишен был возможности высказывать свои собственные соображения по поводу Тридцатилетней войны, и необходимость писать в совершенно определенном духе мешала мне и тормозила мою работу. Участь Густава-Адольфа, в частности, должна была быть оставлена без сколь-нибудь обстоятельного комментария, так же как роль Валленштейна, которого, однако, грандиозные и хаотические замыслы заслуживали, как мне казалось, большего внимания, чем политика Ришелье. Мне особенно мешало еще и то, что, в отличие от журналиста, именем которого должна была быть подписана статья и которому была вполне безразлична участь любого исторического лица, точно так же, как любая историософская идея, меня интересовала судьба всех политических деятелей и полководцев, участвовавших в этой войне. И несмотря на трехсотлетнюю давность, отделявшую меня от них, я ловил себя на том, что по отношению к каждому из них я испытывал чувства, которые способен был бы испытывать их современник, хотя я не мог не понимать, что в изложении разных историков образы этих людей были искажены и стилизованы не меньше, чем они были изменены вдохновением Шиллера. Мне казалось, что нельзя было относиться к Ришелье иначе чем с презрением, как нельзя было не питать некоторого уважения к Pere Joseph. В судьбе Тилли, в убийстве Валленштейна и особенно в смерти Густава-Адольфа я искал некий скрытый символический смысл – и, конечно, все эти соображения были вовсе неуместны для той работы, которую я делал. Когда потом мне пришлось встретиться с фиктивным автором этой статьи – он оказался толстым, лысым человеком средних лет, с одышкой и мутными глазами, – он искренне

удивлялся, читая страницы, которые я написал. Я думаю, что его расхождение со мной по поводу разных исторических оценок было бы еще более резким, если бы он имел сколько-нибудь связное представление о том, что было темой его статьи. Он немного ее переделал, но так как у него не хватало времени, то он должен был ограничиться чисто поверхностными, по его убеждению, изменениями: он поставил всюду, где мог, многоточия и восклицательные знаки, что придавало моему изложению претенциозно-назидательный вид и вносило в него оттенок дурного вкуса, которого, как мне казалось, поначалу не было, но который был неизменно характерен для этого невежественного и развязного человека.

Но все это произошло несколько позже, а в пятницу, часа в три дня, когда я сидел и писал, в мою дверь постучали. Это меня удивило, так как я никого не ждал.

– Войдите! – сказал я.

Дверь отворилась, и я увидел Лиду. На ней были серый костюм, белая, очень декольтированная блузка и серая шляпа. Глаза ее сразу же так пристально уставились на меня, что я испытал некоторую неловкость. Я подвинул ей кресло. Затем я спросил ее, чем я обязан удовольствию ее видеть у себя.

– Я пришла к вам потому, что я считаю вас порядочным человеком.

– Очень польщен, – сказал я с некоторым нетерпением. – Но все-таки, вероятно, ваш визит имеет какую-нибудь более непосредственную цель? Не пришли же вы ко мне только для того, чтобы поставить меня в известность о вашей личной оценке моих моральных качеств?

Она продолжала смотреть на меня в упор, это раздражало меня.

– Мы с вами недавно встретились, – сказала она.

– Вы говорите о том вечере, когда мы обедали у Павла Александровича?

Она взглянула на меня глазами, в которых было выражение скуки и упрёка, и тогда я впервые подумал, что она, может быть, по-своему умна.

– Вы непременно хотите разговаривать со мной таким ироническим тоном, явно давая мне понять, что считаете меня дурой?

Она перешла на французский язык; по-русски такая фраза была бы для нее слишком трудна.

– Боже сохрани!

– Вы видели меня на площади Бастилии, куда я приехала с моим любовником.

– Извините меня, ваша личная жизнь меня не касается.

– Да, да, я понимаю, – сказала она с нетерпением.

После ее слов о том, что я видел ее на площади Бастилии, было ясно, зачем она пришла ко мне.

– Я думаю, что вы напрасно теряете время, – сказал я. – Вы надеетесь, что я никому не расскажу об этой встрече, не так ли?

Она сделала гримасу, точно проглотила что-то невкусное:

– Да.

– Слушайте, – сказал я, – я буду с вами совершенно откровенен. Вы не хотите, чтобы Павел Александрович это узнал, потому что вы боитесь потерять ваше положение. Мне тоже не хотелось бы, чтобы это ему стало известно, но по другой причине: мне его жаль.

– Но вы меня понимаете?

– Не будем на этом настаивать, это было бы для вас невыгодно.

И тогда она заговорила с неожиданным и злобным воодушевлением:

– Да, конечно, вы этого не понимаете. *Parce que, voyez-vous, vous etes un monsieur*¹². Вас никто никогда не хлестал по щекам. Вас никто не называл девкой.

¹² Да, конечно, вы этого не понимаете, потому что вы, видите ли, мужчина (*фр.*).

– On se tromperait de sexe¹³.

– Молчите, дайте мне сказать. Вы не таскались по тротуарам, вы не жили неделями, не зная, где вы будете ночевать. Вас не толкали полицейские. Вы не ночевали со вшивыми арабами. Вы не знаете, что значит туземный квартал, вы не дышали этим воздухом. Вы не понимаете, что значит зависеть от толстого, слюнявого клиента. – Она говорила отрывисто, низким и почти хриплым голосом. – Вы не знаете, что значит ненавидеть собственную мать. Вы не знаете, что значит жить всю жизнь в нищете. Вы ходите в университет, слушаете лекции, спите в чистой постели, отдаете ваше белье в прачечную. On m'a trainé tout la vie dans la boue, moi!¹⁴. – Она остановилась, на ее лице было выражение усталости. – А когда я оставалась одна, я плакала. Я плакала от отчаяния, от нищеты, от того, что ничего нельзя было сделать. Когда я была девочкой, я плакала, потому что мою мать бил ее любовник, и она плакала вместе со мной. Что вы знаете обо мне? Ничего. Но когда вы говорите со мной, в вашем голосе явно чувствуется презрение, вы думаете, я его не слышу? Да, да, я понимаю: мы принадлежим к двум разным мирам, – nous appartenons à deux mondes différents¹⁵.

– Эту фразу вы где-то прочли, – сказал я без всякого раздражения.

– Может быть. Но вы все-таки обо мне ничего не знаете.

И она стала говорить о своей жизни. По ее рассказу выходило, что она действительно никогда ничего не знала, кроме унижения и нищеты. Ее мать посылала ее собирать окурки на тротуарах. Сожите ль Зины бил их обеих. Они пели на улицах и во дворах, откуда их выгоняли, – пели осенью, под дождем, и зимой, когда дул холодный ветер. Они нередко питались тем, что подбирали на Halles. Первую ванну Лида приняла, когда ей было пятнадцать лет.

Потом, когда все стало совсем невыносимо, она ушла из дома и уехала в Марсель. Денег на билет у нее не было, но она платила за все «иначе», как она сказала. Из Марселя она попала в Тунис. Там она прожила четыре года. Она рассказывала мне о душных африканских ночах, о том, как она голодала, о том, чего требовали от нее арабы, – она называла вещи своими именами. И по мере того как она говорила, я понимал то, о чем только подозревал до сих пор, – что она была насквозь пропитана пороком и нищетой и что действительно она провела свою жизнь в каком-то смрадном аду.

Ее били много раз по лицу, по телу и по голове, у нее было несколько ножевых ран. Она расстегнула блузку, и я увидел под ее грудью, затянутой в бюстгальтер, беловатые шрамы. Она никогда нигде не училась, но у нее была хорошая память. В Тунисе в течение некоторого времени она служила горничной у старого доктора, в квартире которого была библиотека, по вечерам она читала книги, которые брала оттуда, и чем больше она читала, сказала она, тем безотраднее ей казалась ее собственная жизнь. Тогда же она встретила Амара, который был болен и несчастен, как она. У него была чахотка в острой форме, он не мог больше работать. Она продолжала служить у доктора и тратила все, что у нее было, на Амара, который благодаря ее уходу и заботам стал поправляться. Но, во всяком случае, к своей прежней работе он вернуться не мог.

Я слушал ее не прерывая. Но в этом месте я спросил:

– А где он работал раньше? Что он делал?

– Не знаю, – сказала она, – кажется, на какой-то фабрике.

Она сказала, что любит этого человека больше всего на свете и готова отдать за него жизнь.

– В таких вещах редко возникает необходимость, – сказал я, – разве что в либретто какой-нибудь оперы. А почему он волочит ногу?

¹³ В таком случае произошла бы ошибка в определении пола (фр.).

¹⁴ Меня всю жизнь втоптывали в грязь (фр.).

¹⁵ Мы принадлежим к двум разным мирам (фр.).

– Откуда вы знаете?

– Я видел, как он шел.

Она опять пристально посмотрела на меня, и в первый раз за все время я заметил в ее глазах угрожающее выражение.

– У него был несчастный случай, – сказала она.

Затем доктор ее рассчитал, и она вернулась в Париж. Здесь она встретила Павла Александровича. Это было на улице, в сумерках; она сидела на скамейке и плакала оттого, что Амар остался в Тунисе и у него не было денег, чтобы приехать сюда. Павел Александрович спросил ее, почему она плачет. Она объяснила ему, что чувствует себя несчастной. Но она не сказала об Амаре. Он предложил ей пойти в кафе и говорил с ней так, как никто и никогда с ней не говорил. Потом он дал ей денег и сказал, что если ей еще что-нибудь будет нужно, то она может прийти к нему или позвонить ему по телефону. О дальнейшем догадаться было нетрудно. Павел Александрович, по словам Лиды, водил ее в Лувр, объяснял ей многие вещи, которых она не знала, давал ей читать книги, которые он находил интересными.

Несмотря на то явное усилие, которое она делала, чтобы говорить о Павле Александровиче доброжелательно, ее враждебное отношение к нему невольно угадывалось. Я думаю, что она презирала его за доверчивость и ей была неприятна мысль о превосходстве Павла Александровича над Амаром. Она выразилась несколько иначе, сказав, что испытывает по отношению к Павлу Александровичу благодарность, но что, конечно, она его любить не может. Она не может его любить – и я должен это понять, – и она не может в то же время жить без любви.

– А теперь скажите мне: разве я не заслужила хоть немного счастья – даже ценой обмана?

Меня несколько раздражала – в патетических местах – ее склонность к книжным оборотам, заимствованным из плохих романов. Когда она рассказывала о Тунисе, о том, что ненавидит свою мать, о побоях, обо всей своей невеселой жизни, она говорила простыми и верными словами.

– Теперь я в вашей власти, – сказала она. – Вы знаете обо мне все, и моя судьба и судьба человека, которого я люблю, зависят от вас. Вы знаете, что можете требовать от меня всего, что я могу дать, и вы знаете, что я не могу отказать вам.

И тогда я впервые посмотрел на нее так, как не смотрел до сих пор. Я увидел ее ноги в обтянутых чулках, сгиб ее тела в кресле, ее тяжелые глаза, тонкое лицо, красный рот и белые волосы, спускавшиеся на плечи. Я отчетливо вспомнил вечер в кинематографе и то, что было потом, и ее голое тело, отраженное во множестве зеркал. Мне стало душно и холодно в одно и то же время. Потом я закрыл глаза, думая о других вещах, и мне на секунду стало ее искренне жаль. Она могла платить за все только одной ценой и была готова на это, чтобы сохранить то, что она называла любовью и что было непреодолимым тяготением к этому больному ублюдку, Амару. Я вспомнил его лицо и подумал, что оно было необыкновенно выразительно, в том смысле, что на нем как будто была написана его судьба. При взгляде на него становилось ясно, что это лицо обреченного человека и что жизнь, которая ему предстоит, не будет долгой: либо он умрет от туберкулеза, либо сгниет от другого недуга, либо будет убит при сведении счетов и его труп подберут полицейские – с пулей в груди или перерезанным горлом. Во всяком случае, таково было мое впечатление, и ничто не могло его изменить. И жизнь Лиды была связана с его судьбой. Но ни та ни другая не были в моих руках, в этом она ошибалась.

Если бы мое внимание не было занято недавними соображениями о Валленштейне и Густаве-Адольфе, соображениями, прерванными приходом Лиды, размышлениями по поводу Амара и неотступной мыслью о том, что он был ее любовником, даже если бы не было всего этого, ее слова – «вы знаете, что я не могу отказать вам» – все равно подейство-

вали бы на меня расхолаживающе, так как звучали слишком недвусмысленно. Я подумал, невольно пожав при этом плечами, что в моей личной жизни Вестфальский мир играет тоже некоторую роль, несколько меньшую, чем зрительное воспоминание о лице Амара, но все же несомненную.

Затем Лида расплылась, я увидел на ее месте мутное белое пятно, в ушах начался легкий звон, и я почувствовал, что все окружающее меня становится невесомым и несуществующим. Это было похоже на приближение душевного обморока, и в этом было чем-то соблазнительное ощущение надвигающегося и почти сладостного небытия.

Я сделал над собой усилие, закурил папиросу, затянулся несколько раз и сказал:

– Не буду вас задерживать. Я хочу, однако, сказать вам несколько слов. Во-первых, мне от вас ничего не нужно, запомните это раз навсегда. Во-вторых, мы действительно, как вы выразились, принадлежим к разным мирам, и в том мире, где существую я, люди не шантажируют других, не пишут анонимных писем и не занимаются доносами ни при каких обстоятельствах. Может быть, если бы они прожили такую жизнь, как вы, это было бы иначе. То, что вы имеете право на счастье, – ваше дело. Мне кажется, что это очень убогое счастье. Но если этого вам достаточно, остается только вам позавидовать. Если бы мне предложили переселиться в тот мир, где живете вы, я предпочел бы пустить себе пулю в лоб. – Потом я встал и прибавил: – Желаю вам всего хорошего. Можете быть спокойны, ваш визит ко мне и этот разговор останутся между нами.

И после ее ухода что-то дрогнуло и исчезло; несколько секунд было пусто и тихо, затем я услышал безмолвный и бесформенный грохот – и понял, что слежу за сражением, исход которого давно был решен, и его нельзя было ни изменить, ни отсрочить, тем самым сражением при Лютцене, которое играло такую значительную роль в истории Тридцатилетней войны.

В этот период моей жизни время проходило почти незаметно для меня; это было одно из наименее устойчивых представлений, которые я знал. Я только позже понял, что все мои силы поглощались постоянным напряжением, в котором я находился и которое было отражением глухой внутренней борьбы, никогда не прекращавшейся. Она шла чаще всего в глубине моего сознания, в темных его пространствах, вне возможности сколько-нибудь логического контроля. Мне начинало казаться иногда, что я близок к победе и что недалек тот день, когда и все мои тягостные видения исчезнут, не оставив даже отчетливого воспоминания. Во всяком случае, они теперь все чаще и чаще становились почти бесформенными; передо мной мелькали неопределенные обрывки чьего-то существования, не успевающие проясниться, и мое возвращение к действительности всякий раз приходило скорее, чем раньше.

Но это еще не было победой: время от времени все вдруг тускнело и расплывалось, я переставал слышать шум улицы или говор людей – и тогда я с тупым ужасом ждал возвращения одного из тех длительных кошмаров, которые я знал так недавно. Это продолжалось несколько бесконечных минут; потом в мои уши врвался прежний гул, меня охватывала короткая дрожь и за ней следовало успокоение.

Та к проходили недели и месяцы. Летом Павел Александрович и Лида уехали в окрестности Фонтенбло, куда он меня неоднократно приглашал и куда я так и не собрался. Я оставался в Париже совершенно один и проводил время главным образом в чтении и долгих прогулках, и у меня не было денег, чтобы уехать куда бы то ни было. Потом наступила осень; из притворенного окна уже тянул почти зимний холодок. Весь январь месяц я провел в неприятном и тягостном томлении; каждое утро я просыпался с предчувствием катастрофы, и каждый день проходил совершенно благополучно. Это состояние раздражало и утомляло меня – и я только изредка освобождался от него и становился таким, каким мне всегда хотелось быть: нормальным человеком, которому не угрожает ни душевный обморок, ни при-

падок безумия. Таким, в частности, я чувствовал себя всякий раз, когда я попадал к Павлу Александровичу.

Я обедал у него однажды февральским холодным вечером. Лиды не было дома, мы сидели с ним за столом вдвоем, и он был в созерцательном настроении. Затем мы перешли в кабинет, куда был подан кофе и где стояла бутылка очень крепкого и сладковатого вина, которого я выпил несколько глотков и которого он, по обыкновению, не пил вовсе. Он был в домашнем бархатном пиджаке, но в рубашке с накрахмаленным воротничком. Я смотрел на него и думал, что, вероятно, теперешний период его жизни – самый счастливый, что лучшего времени он никогда не знал. Мне казалось, что ошибочным это впечатление не могло быть. Все в нем – его движения, одновременно медленные и уверенные, его походка, его манера себя держать, интонации его голоса, который как будто бы стал глубже и значительнее, чем раньше, – все подтверждало такое убеждение. В кабинете было очень тепло, особенно потому, что кроме центрального отопления горел еще камин, и от легкого движения воздуха чуть-чуть шевелились тяжелые портьеры на окнах. Я сидел в кресле и остановившимся взглядом смотрел в огонь. Потом я перевел глаза на Павла Александровича и сказал:

– Вы знаете, вот я смотрю на это маленькое пламя, и мне вдруг начинает казаться, что время незаметно уходит назад, все дальше и дальше, и по мере того, как оно уходит, я претерпеваю неуловимые изменения, – и вот я ловлю себя на том, что я ясно вижу, как я сижу, голый и покрытый шерстью, у входа в дымную пещеру каменного века, перед костром, который разложил мой далекий предок. Этакий милый вид атавизма.

– Я думаю, что вне атавизма мы вообще не существуем, – сказал он. – Все, что нам принадлежит, все, что мы знаем, все, что мы чувствуем, мы это получили во временное пользование от умерших людей.

– Временное?

– Конечно, как же может быть иначе?

Жаркое пламя дрожало над углями, и иногда слышался тихий шелест их смещения. От тепла мне хотелось спать.

Павел Александрович сказал:

– А я все чаще и чаще думаю о смерти вообще. Не потому, чтобы я ее предвидел в ближайшем будущем, а оттого, наверное, что возраст уже почтенный и это в какой-то степени, мой юный друг, естественно именно для моего возраста. И что самое удивительное, я думаю о ней без всякого ужаса и даже огорчения.

– Вероятно, потому, что эти мысли носят чисто теоретический характер.

– Не только, мне кажется. Есть в этой перспективе нечто соблазнительное, нечто неподдельно-торжественное и самое значительное. Вспомните слова панихиды: «В лоне Авраама, Исаака и Иакова упокой...»

«В лоне Авраама, Исаака и Иакова...» Я сразу увидел перед собой гулкие своды церкви, чей-то безымянный гроб, священника, дьякона, кадила, иконы, неподвижный полет раззолоченных ангелов на Царских вратах и надпись вверху, над ангелами, над всем этим наследством тысячелетий христианства: «Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные и Аз упокою вы».

– Вы верите в Бога, Павел Александрович?

– Раньше плохо верил, теперь верю. Тому, кто прошел через годы нищеты, легче верить, чем другому. Потому что, видите ли, христианство – это религия бедных людей, и недаром в Евангелии есть слова по этому поводу, которые вы, наверное, помните.

– Да, да, – сказал я. – Но я помню не только это. Мне пришлось однажды читать поучительнейшую энциклику папы, забыл которого, где доказывалось, что взгляды церкви на богатство и бедность надо уметь правильно толковать. В частности, об отдаче бедным не только всего имущества, но даже десятой его части не может быть и речи: это недоразуме-

ние. Десятая часть – это с процентов от дохода. Капитал же никакому христианскому обложению не подлежит. Но это, конечно, анекдотично, и если есть ад, то я думаю, там этот папа, жарясь много столетий на гигантской сковороде, успел понять свое гибельное заблуждение по поводу взглядов церкви на имущественный вопрос.

– Раньше я думал, что умру так же, как умирали мои товарищи с rue Simon le Franc, – продолжал Щербаков. – То есть что однажды на рассвете зимнего дня мой труп найдут где-нибудь недалеко от Сены, рядом со скамейкой, покрытой инеем. Это было бы естественно. – Небольшая лампа с абажуром освещала его лицо, спокойное и задумчивое. – И знаете, эта мысль мне всегда была обидна, я с завистью смотрел на богатые похороны, вплоть до того, что мечтал: вот бы мне так умереть. И теперь я иногда представляю себе собственную кончину именно так, не без некоторого, я бы сказал, даже уюта: завещание, нотариус, долгая болезнь, воспитывающая во мне смирение и готовность к последнему переходу, предсмертное причащение, траурное объявление в газете: «Со скорбью извещают о смерти Павла Александровича Щербакова»... потом день и час погребения...

– Подождите, подождите, Павел Александрович, – сказал я, – что это за похоронная поэма? К тому же, насколько я знаю, у вас нет ни близких, ни знакомых, не считая ваших недавних коллег, завещание вам оставлять не для кого – и кто придет на ваши похороны? Та к что даже с точки зрения чисто обстановочной, так сказать, извините меня за откровенность, мне ваши мечты кажутся спорными.

– Может быть, – ответил он рассеянно. – Но уверяю вас, они не лишены некоторой приятности.

Я сказал ему, что теоретически это понимаю, но что мне трудно в это как следует вникнуть. Я сказал, что мне смерть всегда представляется как катастрофа: мгновенная или медленная, неожиданная или естественная, но именно катастрофа – призрак потустороннего ужаса, от которого стынет кровь. Понятие уюта к этому никак не подходит. Он заметил, что такой взгляд в моем возрасте – он подчеркнул это – понятен, и спросил, нет ли у меня, между прочим, явной нелюбви к кладбищам.

– Нет, – сказал я. – Вот в них, пожалуй, есть нечто успокоительное.

И когда мы заговорили об этом, я вспомнил, как давно, когда я был в военном лагере, на берегу Дарданелльского пролива, меня назначили по наряду рыть могилы. Я рассказал это Павлу Александровичу. Кладбищем заведовал пожилой усатый полковник, говоривший с сильным кавказским акцентом. Он приходил несколько раз посмотреть на мою работу и говорил:

– Ройте, ройте, дорогой, глубже, пожалуйста. Совсем глубже ройте.

Когда он пришел в последний раз, я стоял на дне прямоугольной ямы в полтора человеческих роста. День уже клонился к вечеру.

– Теперь хорошо, – сказал он, – можете вылезать оттуда, дорогой.

– Господин полковник, – сказал я, – можно вас спросить: кому именно я оказываю эту последнюю услугу? Кого будут хоронить в этой могиле?

Он сделал неопределенный жест рукой:

– Неизвестно еще, дорогой, неизвестно. Все под Богом ходим. Завтра вы умрете, дорогой, – вас хоронить будем.

А потом, много лет спустя, я узнал, что этот полковник стал рабочим во Франции и умер где-то возле Рубэ. И я пожалел в ту минуту, что это не случилось тогда на берегу Дарданелл и что его не опустили в вырытую мной могилу, в теплую, глинистую землю, куда так мягко входила кладбищенская лопата; это избавило бы его от долгих лет невеселой жизни, и, может быть, умирая тогда, он унес бы с собой еще какие-нибудь иллюзии, несостоятельность которых выяснилась именно за это время и именно потому, что он опоздал умереть.

– Может быть, это так, может быть, иначе, – сказал Павел Александрович.

Затем разговор перешел на другое, он рассказывал мне воспоминания прежних своих лет, и мне почему-то особенно запомнилось – может быть, оттого, что я представил себе это с необыкновенной зрительной отчетливостью, – одно его приключение, в общем, незначительное. Он шел однажды зимой, на севере России, по лесу, это было незадолго до революции, когда он был офицером; его бульдог, бежавший перед ним, вдруг начал свирепо лаять. Он поднял глаза и недалеко от себя на дереве увидел рысь, сидевшую с каменной неподвижностью. На нем была форменная шинель, шашка и револьвер. Он выстрелил из револьвера в рысь, но не убил ее, а только ранил, и тогда она огромным прыжком бросилась на него. Он успел отступить на шаг, она упала на четыре лапы прямо перед ним, и в ту же секунду на нее навалился бульдог. Павел Александрович не решался стрелять, боясь задеть собаку, и пустил в ход шашку, которой распорол рыси брюхо, в то время как бульдог, не разжимая челюстей, держал ее за горло. Снег был красный от крови, и в розовом закате зимнего дня медленно летали вороны. Я видел перед собой этот мертвый кошачий оскал рыси, белую целину, поднятую борьбой, и молодого офицера с шашкой в руке. Я посмотрел на его лицо сейчас, – оно выражало спокойную усталость, – подумал о том, сколько лет прошло после этой российской зимы, и ощутил, как мне показалось, неудержимое движение времени.

Потом речь зашла о путешествиях, и Павел Александрович сказал, что он собирается через некоторое время, если все будет благополучно, переехать на постоянное жительство в Канаду, подальше от Европы, ее политических судорог и неизменного ощущение смутной тревоги, наполняющего воздух, которым мы дышим.

– Подумайте, – сказал он, – ведь здесь каждый камень пропитан кровью. Войны, революции, баррикады, преступления, деспотические режимы, инквизиция, голод, разрушения и вся эта историческая галерея ужасов – участь Богемии, Варфоломеевская ночь, солдаты Наполеона в Испании, – помните серию рисунков Гойи? Европа живет, как убийца, преследуемый кровавыми воспоминаниями и угрызениями совести – в ожидании новых государственных преступлений. Нет, я слишком стар для этого, я устал. Меня все тянет к теплу и покою. Я столько лет мерз и голодал, безнадежно, в смутном ожидании смерти или чуда, что теперь, я считаю, я заслужил право на отдых и на некоторые иллюзорные и сентиментальные утешения – последние, вероятно, которые мне суждены.

«Иллюзорные утешения» – да, лучше нельзя было сказать. Стало быть, и он это понимал, несмотря на свое позднее ослепление, стало быть, даже от его взгляда не ускользнула та преступная тень на лице Лиды, которая заставляла меня всякий раз, что я ее видел, испытывать отвращение и тревогу, одновременно с непонятным и унижительным тяготением к ней.

– А что вы? Как вы живете? – спросил он.

Я сказал ему, что я продолжаю существовать как-то ощупью, в постоянном и беспредметном беспокойстве, почти метафизическом, и что я чувствую по временам такую душевную усталость, точно мне бесконечно много лет.

– Что-то у вас неладное, милый мой, – сказал он. – А так на вас посмотреть, вы совершенно нормальный человек. Может быть, вам на берег моря или в глухую деревню бы надо, вы об этом подумайте.

Я пожал плечами. Затем я взглянул на книжные полки и впервые заметил, что на одной из них стояла небольшая желтая статуэтка, которой я не мог как следует рассмотреть. Я спросил Павла Александровича, что это такое. Он поднялся с кресла, снял ее и передал ее мне.

Это была статуэтка Будды, из литого золота. Вместо пупка у Будды был довольно крупный овальный рубин. Меня удивила его поза: в противоположность тому, что я привык видеть, он был представлен не сидя, а стоя. Обе руки его были прямо вытянуты вверх, без малейшего сгиба в локтях, безволосая голова была склонена несколько набок, тяжелые веки нависали над глазами, рот был открыт, и на лице было выражение сурового экстаза, пере-

данное с необыкновенной силой. На золотом животе, с непонятной и мертвой значительностью, тускло блестел рубин. Статуэтка была настолько замечательна, что я долго смотрел на нее не отрываясь и успел за это время забыть, где я нахожусь. Потом наконец я сказал:

– Прекрасная вещь. Где вы ее достали?

Он ответил, что недавно купил ее здесь, в одном из антикварных магазинов.

– Я смотрю на нее довольно часто, – сказал он, – и, конечно, всякий раз при этом думаю о буддизме, к которому чувствую тяготение.

– Соблазнительная религия, мне кажется.

– Чрезвычайно, чрезвычайно. В силу исторической случайности мы – христиане; мы могли бы быть буддистами, именно мы, русские.

То, что он говорил потом, мне показалось спорным – может быть, оттого, что в такого рода суждениях трудно было избежать несколько произвольных обобщений. Кроме того, я был склонен думать, что почти все религии, за исключением отдельных, варварских, культов, в какой-то момент почти совпадают и экстаз Будды, например, переданный с такой убедительностью в золотой статуэтке, напомнил мне некоторые луврские видения, и в частности, восторженное лицо святого Иеронима.

– Да, надо до этого дойти, – сказал Щербаков. – Надо дойти до понимания нирваны. Мне раньше все казалось, что это похоже на то, как если смотреть в бездонную и темную пропасть, а потом я понял, что это не так.

И я подумал, что, может быть, и мне следовало стать буддистом – именно из-за стремления к нирване. Я рассказал Павлу Александровичу, как в минуты наиболее напряженного душевного существования я неизменно испытывал желание раствориться и исчезнуть.

– И я думаю, – сказал я полушутя-полусерьезно, – что если бы мне удалось рассказать об этом Будде, то великий мудрец отнесся бы ко мне снисходительно.

Было уже поздно, а мы все сидели и говорили о самых разных вещах – о буддизме, о живописи Дюрера, о России, о литературе, о музыке, об охоте, о том, как звенит снег от мороза, как дрожит полоса лунного света на поверхности моря, о том, как умирают нищие на улицах, о том, как живут калеки, об американской городской цивилизации и о зловонии Версаля, о том, что миром правят иногда невежественные и преступные тираны и что земная апокалипсическая мерзость, характерная для любой эпохи человеческой истории, по-видимому, так же неизбежна, как отвратительна.

–

Когда я вышел оттуда, было ровно без десяти час. Я очень хорошо это запомнил, потому что взглянул на часы и мне вдруг показалось, при неверном свете фонаря, что было всего пять минут одиннадцатого, и это меня удивило. Но затем я посмотрел внимательнее и увидел свою ошибку. Я мог бы, может быть, попасть еще к последнему поезду метро, но решил пойти пешком. Ночь была беззвездная и холодная; кое-где вдоль тротуаров блестели замерзшие полосы воды. Я смотрел на все окружавшее меня рассеянно, продолжая шагать по знакомой дороге; потом я посмотрел прямо перед собой и заметил, в желтоватом зимнем тумане, что не было больше ни улицы, ни фонарей, которые непонятно как исчезли. Я остановился, закурил папиросу и оглянулся вокруг себя. Не было, действительно, ни домов, ни улицы: я стоял посередине моста через Сену. Я оперся о перила и долго смотрел на темную поверхность реки. Она беззвучно текла между теми статуями русалок, которых я не узнал тогда, когда возвращался из несуществующей тюрьмы воображаемого государства. Я глядел вниз, на воду, и постепенно переставал чувствовать ту бедную ограниченность моих созерцательных способностей, которую ощущал всегда, пока не видел перед собой небо или воду. Тогда мне начинало казаться, что я больше не стиснут со всех сторон – несовершенством моих чувств, временем, обстоятельствами, личными и незначительными подробностями моей жизни, моими физическими особенностями. Тогда у меня бывало впечатление,

что только теперь я ощущаю душевную свободу так, точно ее отражение приближалось ко мне, исполняя чье-то божественное обещание, – в безмолвном великолепии воздушной или водяной бесконечности. И о чем бы я ни думал в эти минуты, мои мысли текли не так, как в обычное время, и в них появлялась некоторая отрешенность от внешних обстоятельств, влиявших на них. Иногда я забывал, с чего именно начались эти размышления, иногда, напротив, я твердо помнил это. Но я, конечно, знал, что никогда не найду того таинственного и давно потерянного начала, которое исчезло в немой неподвижности ушедшего времени. Мне казалось, что я слежу сейчас со стороны, откуда-то из этого воздушного или водяного пространства, за длительным движением того непреодолимого множества самых разнородных вещей – предметов и соображений, каменных домов и воспоминаний, поворотов улиц и ожидания, зрительных впечатлений и отчаяния, – в котором проходит мое существование и жизнь других людей, моих братьев и современников.

И вот я думал теперь о той странной притягательности, которую имело для меня это желание моего собственного исчезновения. То, что казалось мне соблазнительным, могло быть таким и для других, и в частности для Павла Александровича. Он, может быть, недаром говорил о буддизме, который в его представлении сводился, главным образом, к возможно более полному избавлению от тленной земной оболочки. Нужно было избавиться от этого постоянного и тягостного состояния: зависимости нашей душевной жизни от той презренной, в сущности, физической субстанции, через которую проходит наше восприятие мира и которая, в конце концов, недостойна выполнять эту, как он выразился, торжественную миссию. Человек, который так думает, уже затронут каким-то нарушением душевного равновесия, он уже слышит отдаленный призыв другого мира, отвлеченного и величественного, как конец времен, о котором так настойчиво говорят священные книги. По сравнению с ним – какую ценность представляет эта бедная совокупность чувственных радостей, которые остались для него? Если бы он был моложе на несколько десятков лет, если бы у него было неутомимое сердце, огромные легкие, мускульная сила юного и атлетического тела, – тогда, может быть, это языческое неистовство земных страстей сделало бы его непроницаемым и для буддизма, и для созерцания.

И как это часто бывало у меня – может быть, именно потому, что мне было двадцать пять лет, и я не знал физических недомоганий, и для меня чувственный мир был не менее притягателен, чем созерцательный, – мои мысли были прерваны зрительным воспоминанием. Я увидел перед своими глазами два стеклянных круга моего полевого бинокля, в который я смотрел на кавалерийскую атаку, направленную против нас, моих товарищей и меня, во время войны, в России. Я видел, как сомкнутыми рядами кавалеристы приближались к нам, я видел эти быстрые и ритмические колебания живой массы лошадей и всадников, и я смотрел на это не отрываясь, с остановившимся дыханием, потому что в этом была неудержимая, казалось бы, сила молодости и мускулов, и это была атака победителей. Это была победа над смертью и над страхом смерти, потому что это было безумие, потому что против этих людей, вооруженных винтовками и саблями, были направлены пулеметы и пушки. Но никакая мысль и никакое соображение не могли остановить этой слепой и самозабвенной силы. И я отвел бинокль от глаз, испытывая смертельное сожаление оттого, что всадники были уже в двухстах метрах от нас и через секунду по ним стали бить орудия и десятки пулеметов; и несколькими минутами позже их волны были скошены огнем и на выжженной траве неровного поля лежали только трупы и умирающие. И от всего этого не осталось ничего, кроме сохраненных во времени и пространстве и отражавшихся сейчас на уходящей поверхности ночной реки в далеком и чужом городе двух стеклянных кругов моего полевого бинокля и еще того повторного замирания сердца и того воспоминания о сраженных победителях, в котором вновь, через столько лет, начиналась их героическая и бессмысленная атака.

Темная вода все так же беззвучно двигалась перед моими глазами. Если исключить из жизни то убогое наслаждение, – я думал о Павле Александровиче, – которое дают чисто телесные ощущения, тепло, обед, кровать, Лида, сон, то что остается? Восторженное лицо Будды? Исступление святого Иеронима? Смерть Микеланджело? Для того, кто знал эту холодную притягательность небытия, – что могла значить эта биологическая дрожь существования? «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали и моря уже нет». И то, что происходит сейчас, здесь, если смотреть на это со стороны, как-то особенно нелепо: зима, февраль, Париж, мост над Сеной, глаза, которые смотрят на темную реку, и безмолвный поток мыслей, образов и слов, в невероятном смешении времен и понятий – Павел Александрович Щербаков, Лида и вся ее жизнь, Будда, святой Иероним и Откровение Иоанна, кавалерийская атака, бинокль, небытие и случайный физический облик человека, который стоит в синем пальто, опершись локтями о тяжелые перила, та хрупкая матерьяльная оболочка, в которой воплощена часть этой таинственной совокупности движений.

В эту секунду во мне что-то сместилось – я не мог бы сказать иначе. Мой взгляд, который до сих пор был неподвижно устремлен все в одно и то же место реки, скользнул дальше, и в поле моего зрения поплыли дрожащие отражения фонарей. Я отвел глаза от реки, и в чудовищной быстроте зрительного взлета передо мной появились, далекие и холодные, звезды зимнего неба. А может быть, мне еще суждено проснуться однажды утром или однажды ночью, забыть об отвлеченных ужасах и начать жить так, как я жил раньше и как должен был бы жить всегда, не в фантастике, окружавшей меня со всех сторон, а в непосредственной действительности существования. Небытие не уйдет от меня, оно только немного отдалится. И это позволит мне почти забыть о нем, и я буду все воспринимать иначе: проведя ночь с женщиной, я буду испытывать чувство благодарности к этому бедному телу, которое мне принадлежало; читая плохую книгу, я не буду презирать какого-то умершего человека, когда-то ее написавшего, и мне начнет казаться, что в известном смысле все или почти все имеет свое оправдание и что я живу, окруженный этой скудной человеческой теплотой, в мире, где плачут оттого, что умер ребенок или убит на войне муж, где говорят – я никого не любил, кроме тебя, – где живут маленькие дети и щенята, в том мире, за пределами которого только холод и смерть.

Я вдруг почувствовал, что продрог до костей; я поднял воротник пальто и ушел с моста. Но я продолжал думать о Павле Александровиче и о его удивительной, в конце концов, судьбе. Я вспомнил, как он мне говорил, что его спасла эта неопределимая болезнь, и чем больше я об этом размышлял, тем больше я был склонен полагать, что невозможность пить вино, эти боли и рвоты, все это было, может быть, даже не болезнью, а каким-то загадочным проявлением инстинкта самосохранения, того самого, которого так не хватало его товарищам по несчастью. Что стало бы со всем его наследством, если бы он оставался алкоголиком? И я еще раз увидел его таким, каким он предстал передо мной впервые, – старым оборванцем в Люксембургском саду. В моих ушах звучали его слова, которые мне было неловко слушать и которые он мне сказал значительно позже, после того как разбогател:

– Я не верну вам тех десяти франков, которые вы мне тогда дали, за это так отблагодарить нельзя. Я это очень оценил. Я знаю, что вы к деньгам равнодушны, более или менее, конечно. Но старому нищему столько не дают.

И вот теперь он сидит в кресле, в теплой, хорошо обставленной квартире, смотрит на полку с книгами и на золотого Будду и думает о спокойной смерти. Вечером приходит Лида и отдает ему свое послушное тело; затем она поднимается с его кровати и уходит к себе, и он засыпает до утра – на белых простынях, под стеганым одеялом. Утром он пьет кофе, затем читает газету, потом завтракает, потом идет или едет гулять. Вечером он идет иногда в театр, иногда на концерт, иногда в кинематограф. И никаких забот, ни о том, что будет завтра, ни

о деньгах, ни о будущем вообще, этот постоянный и теплый уют, камин, диваны, кресла, мягкие шаги по толстому ковру его кабинета. Как нелепо показалось бы ему еще два года назад, когда он скитался холодными зимними днями по Парижу, спускаясь время от времени в теплое и дурно пахнущее метро, – если бы тогда ему сказали, что через некоторое время он будет жить так, как живет сейчас! А вместе с тем в этом не было ничего ни чудесного, ни невероятного. Это произошло просто потому, что за полторы или две тысячи километров от Парижа однажды море было холодным и свирепого, скупого старика, отплывшего даже не очень далеко от берега, схватила смертельная судорога, он пошел ко дну, вода наполнила его легкие, и он умер. В этом не было ничего, кроме последовательности самых естественных вещей: температуры воды в северном море, склонности к артриту, характерной для известного возраста, недостаточного умения плавать или, может быть, внезапного удара.

«В лоне Авраама, Исаака и Иакова упокой...» «Я думаю об этом даже не без некоторого удовольствия...» И вдруг мне показалось, что в этих словах была какая-то бесконечно печальная истина. Может быть, действительно было бы лучше для моего коменданта кладбища умереть тогда в Греции, а не значительно позже в фабричном поселке Франции. В конце концов, именно теперь он, Павел Александрович Щербаков, по-настоящему счастлив. Что будет потом? Он привыкнет к этому комфорту и перестанет его ценить, ему станет казаться, что он так жил всегда и что вещи, которые с ним происходят, естественны и скучны. Ему пойдет седьмой десяток, и в самом недалеком будущем те жестокие лишения, которые он пережил, начнут давать о себе знать, начнутся недомогания, болезни, доктора и все то тягостное, что несет с собой старость, и непоправимое сознание, что деньги пришли слишком поздно: вместо желаний будут боли, вместо аппетита – отвращение к еде, вместо глубокого сна – длительная бессонница. Да, было бы лучше, если бы он умер теперь. Он знал все: молодость, расцвет сил, опасность смерти на войне, страсть, вино, нищету, глубочайший человеческий упадок и неожиданное возвращение в тот мир, который давно стал для него недоступен, этот невероятный переход от напоминания к напоминаемому, от небытия к жизни. Что еще оставалось для него – в пределах одного человеческого существования? Никакой отдых не вернет ему потерянных сил, потому что время отняло у него возможность их полного восстановления: таких чудес все-таки не бывает. И может быть, действительно своевременным и достойным завершением этого существования был бы переход туда, где нет «ни болести, ни воздыхания, но жизнь бесконечная».

Может быть, это было бы лучше всего. Но мне лично было бы его жаль. Я любил его душевное спокойствие, его искреннюю доброжелательность ко мне, интонации его глубокого голоса, его неподдельную человеческую привлекательность – все эти качества, которые он пронес через жестокие испытания и которые он сумел сохранить такими, какими они бывают тогда, когда молодость и сила позволяют человеку роскошь великодушия. Придется ли мне быть свидетелем их постепенного исчезновения и вместо теперешнего Павла Александровича увидеть перед собой озлобленного старика, утомленного хроническими недугами и ненавидящего других за то, что их собственное здоровье не позволяет им понять ни его страданий, ни его бессильного гнева? Я не хотел бы присутствовать при таком его перевоплощении.

Я вдруг вспомнил опять восторженно-иступленное лицо Будды и его руки, поднятые вверх. Может быть, он видел перед собой ту нирвану, к которой мы были ближе, чем это нам казалось, которую мы принимали как должное, которой мы даже хотели, к которой мы, в глубине нашего сознания, даже стремились.

«Которой мы хотели». Поставим единственное число вместо множественного: «которой я хотел». Почему в каком-то умозрительном пространстве я осуждаю на смерть или на близость к нирване Павла Александровича Щербакова, почему именно я – так как нигде, кроме моего воображения, это не происходит, а мое воображение – это, в конце концов, иска-

женное отражение меня – произвольно и насильственно предполагаю его смерть, почему я совершаю это теоретическое умерщвление? И в какой степени я ответственен за это преступление? Потому что в том мире, на пребывание в котором я был осужден своей упорной болезнью, граница между отвлеченным и действительным, между идеей и актом не была ни отчетливой, ни неподвижной. Мне надо было, например, сделать необыкновенное усилие воли, чтобы вспомнить, принадлежала мне Лида или нет, – в этой комнате с зеркалами. И как наивно было бы думать, что вся моя жизнь, это длительное и сложное движение, начало которого теряется для меня в необъяснимой тьме, может быть сведена к последовательности внешних и очевидных фактов моего существования. Остальное, зыбкое и неверное, могло быть названо уходом от действительности, бредом или сумасшествием. Но и в нем была тоже своеобразная последовательность, не менее несомненная, идущая от одного провала в безумие до другого – до той минуты, вероятно, когда последние остатки моего сознания будут поглощены надвинувшимся мраком и либо я исчезну окончательно, либо, после долгого перерыва, похожего на многолетний душевный обморок, я увижу себя однажды в какой-то далекой стране, на краю дороги – неизвестным бродягой без имени, без возраста и без национальности. И, вероятно, тогда мне будет легко на душе и я забуду эту уголовную мрачность воображения, эту отвлеченную отвратительность разврата и это теоретическое умерщвление.

Было больше двух часов ночи, когда я подходил к гостинице, в которой жил. На углу меня остановила Мадо и попросила у меня папиросу. Потом она посмотрела на меня и сказала:

– У тебя странный вид сегодня. Ты что, очень устал?

– Это свет фонаря, который так падает на мое лицо, – ответил я. – Нет, я не устал, мне просто хочется спать.

– Ну, тогда спокойной ночи.

– Спокойной ночи, Мадо.

Я поднялся к себе, сдернул покрывало с дивана, и в мягком свете забелели простыни и наволочки. Я помню, что я мечтал, раздеваясь, заснуть без снов, проснуться утром и забыть весь этот ненужный и воображаемый абсурд.

–

Я проснулся, однако, с тяжелой головой. Приняв холодный душ и побрившись, я вышел из гостиницы. Направо от входа я с удивлением заметил закрытый автомобиль темно-синего цвета, в котором обычно ездят полицейские. Едва я успел сделать несколько шагов, как я почувствовал чью-то руку на своем плече. Я обернулся. Передо мной стоял широкоплечий мужчина в штатском, с гладким и невыразительным лицом.

– Вы арестованы, – сказал он. – Следуйте за мной.

Я был настолько поражен, что в первую минуту ничего не ответил. Тотчас же подошел второй человек в штатском, мы сели в автомобиль и поехали. Только тогда я спросил:

– По какой причине я арестован?

– Вы это должны знать лучше, чем кто бы то ни было.

– Я ничего не понимаю.

– Тогда будем надеяться, что это недоразумение, которое скоро выяснится.

Автомобиль остановился на набережной Сены. Я сидел в приемной; один полицейский инспектор оставался со мной, другой ушел и был довольно долго в отсутствии. Я чувствовал по-прежнему тяжесть в голове и странное безразличие ко всему происходящему и успел подумать, что это было похоже на тот длительный бред, который привел меня в дом предварительного заключения на территории фантастического Центрального Государства.

Наконец меня ввели в другую комнату, где сидел очередной инспектор. Справа и слева от его кресла стояло еще несколько человек, которые мне показались очень похожими друг

на друга. У того, кто начал меня допрашивать, было бритое и печальное лицо, он был немолод, у него было усталое выражение, как будто принятое раз навсегда. Он спросил, как моя фамилия, где я живу, чем я занимаюсь, где и когда я родился. Я ответил. Он по смотрел на меня в упор и вдруг спросил с непонятным упреком в голосе:

– Почему вы его убили?

И в ту же секунду я почувствовал, что теряю под собой почву. Точно издалека, со стороны, я увидел себя идущим по улице, этой ночью, и вспомнил то, что я думал тогда и что, как мне казалось, не могло иметь никакого отношения ко всему происходившему сейчас. Я встряхнул головой и сказал:

– Извините меня, я не очень хорошо себя чувствую и не понимаю, о чем вы говорите. Что вы имеете в виду?

– Я думаю, что не сообщу вам ничего, что вам не было бы уже известно. М-р Щербаков сегодня утром был найден убитым в своей квартире.

Мне опять показалось, что я в бреде и что у меня нет сил из него уйти. Я, конечно, допускал мысль о его смерти, я даже в какой-то мере был склонен думать, что она была бы своевременна именно теперь. Сквозь мутный туман на меня смотрели с угрозой и упреком человеческие глаза. Я вспомнил с усилием, что это были глаза инспектора.

– Это было чисто теоретическое положение, – сказал я. – Это даже не было желание, это было произвольное логическое построение.

– К несчастью, я не вижу в этом никакого теоретического элемента. Щербаков был убит ударом ножа в затылок. Удар был нанесен сзади, когда он сидел в кресле.

Я стоял, низко опустив глаза. Нет, такого совпадения быть не могло. Это было произвольное логическое построение, я готов был повторить это тысячу раз. Никто, кроме меня, не мог об этом знать, и моя мысль не могла быть передана на расстоянии какому-то неизвестному убийце. А вместе с тем по времени это совпадало. Нет, этого, конечно, не могло быть.

– Это мне представляется невозможным, – сказал я.

И внезапно я понял, что не было ничего более опасного, чем то, что происходило сейчас. То, что я говорил, должно было казаться инспектору иным, чем было в действительности, и, если я буду продолжать этот диалог с самим собой, это может меня окончательно погубить.

– Дайте мне, пожалуйста, стакан воды, – сказал я.

Он дал мне стакан воды и папиросу. Потом он сказал:

– В конце концов, я был бы только рад, если бы выяснилось, что вы не убийца. Но это нужно доказать, и я могу рассчитывать только на вашу помощь.

– Я вам искренне благодарен.

Потом пришел полицейский, который должен был сопровождать меня к фотографу.

Там меня посадили на вращающийся металлический табурет, выкрашенный белой масляной краской; свет рефлекторов бил мне в лицо, табурет поворачивался в разные стороны, шелкал фотографический аппарат. Затем меня заставили отпечатать на белой бумаге все мои пальцы, вымазанные предварительно какой-то черной массой, и отвели обратно.

Несмотря на то, что в кабинете, где меня допрашивали, было достаточно светло, мое лицо освещала лампа почти такой же силы, как те, при которых меня только что снимали. Я вспомнил, что это обычный способ допроса.

Но первого инспектора не было. На его месте сидел не знакомый мне человек, совершенно на него не похожий, с мрачным и скупающим выражением лица.

– Ну что? – сказал он.

– Я вас слушаю.

Он сморщился от скуки и отвращения.

– Покончим с этим скорее, – сказал он. – Мне надо идти завтракать, вам надо отдохнуть. Делайте ваше чистосердечное показание, я вам постараюсь помочь. Каковы были мотивы вашего поступка?

– Мне бы хотелось выбраться из этого лабиринта, – сказал я, отвечая на собственную мысль.

– Мне тоже. Но это не ответ на вопрос, который я вам поставил. Я повторяю его: каковы были мотивы вашего поступка?

Я делал над собой необыкновенные усилия, чтобы перейти эту границу, которая разделяла мои размышления о судьбе Павла Александровича, размышления, вызванные несомненной симпатией к нему, от фактов, которые мне ставились или могли быть поставлены в вину. Я прекрасно понимал глубочайшую разницу между темным чувством моей теоретической вины перед ним и тем ударом ножа сзади, который вызвал его смерть. Я это понимал, но сплетение того и другого было настолько крепко, что, стараясь оставаться в области фактов, я все время упирался точно в незримые стены, отделившие меня от простейшей логической убедительности. Я не мог выйти из этого душевного тумана, хотя я знал, что дальнейшее пребывание в нем и это абсурдное сознание своей вины – я понимал его нелепость, но не мог избавиться от чувства, лишавшего меня необходимой свободы мышления, – грозят мне самой непосредственной и страшной опасностью.

Инспектор задал мне еще несколько вопросов, на которые я не мог ответить с нужной ясностью. Затем он ушел, и его заменил другой. У меня болели глаза от яркого света лампы, мне хотелось пить, есть и курить. Еще через некоторое время я почувствовал, что меня охватывает сон, я на секунду заснул и проснулся от того, что меня трясли за плечи. Кто-то, кого я уже не узнавал, опять спрашивал, что именно толкнуло меня на убийство. Я собрался с силами и ответил снова, что это не поступок, а произвольное логическое построение. Чей-то незнакомый голос сказал:

– Он бредит, он слишком устал. Но он еще держится.

Но на этом допрос неожиданно кончился, и меня увели. Я шел, спотыкаясь и покачиваясь, как пьяный, между двумя полицейскими. Затем отворилась дверь, и я очутился в узкой камере, на полу которой лежал матрац, покрытый одеялом. Я буквально упал на него, и мне казалось, что он охватил меня еще до того, как я успел его коснуться.

Я проснулся, вероятно, через много часов в полной тьме и сразу же вспомнил все. Я знал, что нахожусь в тюрьме и что меня обвиняют в убийстве Щербакова. Только теперь я по-настоящему понял, что произошло. Бедный Павел Александрович, недолго пришлось ему пожить по-человечески! Но кто же мог его убить и, главное, зачем?

Приблизительно трое суток я провел в том, что тщетно старался обрести постоянно ускользавшую от меня ясность сознания, но тот легкий и непрозрачный туман, который обычно окружал меня во время этих странных душевных недомоганий, не рассеивался. И когда меня наконец снова вызвали на допрос, я чувствовал себя немногим лучше, чем в первый день моего ареста.

На этот раз я попал к судебному следователю, пожилому человеку с мягкими глазами. После первых формальных вопросов он сказал:

– Я внимательно просмотрел ваше досье, в нем нет ничего неблагоприятного для вас. Вы отрицаете, что вы убили Щербакова?

– Самым категорическим образом.

– Вы были с ним в хороших отношениях, не так ли?

– Да.

– Давно ли вы с ним знакомы?

– Года три.

– Вы помните, когда и где вы с ним встретились впервые?

Я рассказал, как произошло мое знакомство с Павлом Александровичем.

– Значит, в те времена он был нищим?

– Да.

– И через три года мы находим его в комфортабельной квартире на улице Молитор? Это неправдоподобно. Как это могло случиться?

Я объяснил ему. Я заметил, что когда речь шла не об убийстве, мне было гораздо легче отвечать и все было для меня более или менее ясно.

– Хорошо, – сказал он. – Что вы делали вечером одиннадцатого февраля, другими словами, в день убийства Щербакова? Вы можете вспомнить ваше времяпрепровождение?

– Конечно, – сказал я.

Я действительно отчетливо помнил все, что происходило: холодный вечер, редкие снежинки в свете уличных фонарей, станцию метро «Одеон», откуда я поехал к Павлу Александровичу, и мой приход к нему. Я помнил лица начальника поезда и механика и узнал бы пассажиров, ехавших в одном вагоне со мной. Я описал следователю все, вплоть до меню обеда, которым меня угостил Павел Александрович.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.